

АЗБУКА ВЕРЫ

Носов Евгений Иванович

**Красное вино победы (Сборник
рассказов) — Носов. Е.И.**

Художественная литература 2020

Красное вино победы (Сборник рассказов) — Носов. Е.И.

Носов Евгений Иванович

Оглавление

[Красное вино победы\[1\]](#)

[Во субботу, день ненастный](#)

[Шопен, соната номер два\[2\]](#)

[Фагот](#)

[Примечания](#)

Красное вино победы[1]

Весна сорок пятого застала нас в подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона сечет сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь наматы сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах,- после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша неподвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежащим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешение снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы; белые бинты, белые халаты сестер и врачей, и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки... Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние одолевало от этой белизны И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь промокли от тлеющих под ними ран. Воздух в палате стоял густ и тяжек, и чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей, мы просверливали в гипсах дыры вокруг

ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда ж в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергиваем их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.

- Опять букет располовинили,- журила умывавшая нас по утрам старая госпитальная нянька тетя Зина.- Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте...

С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелонем перед ликвидацией госпиталя. И может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все - и медперсонал, и мы, раненые,- со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой, унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже маломальского городишка. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении, среди этих мрачных болот, Гитлер устроил свою главную ставку - подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю меня уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты - обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках - ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки, с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь - непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург - сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата - в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его костреч, обвязанный солдатским

вафельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расплзлся незнакомый вкрадчивый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрерывно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал в цинковый тазик извлеченный осколок или пулю к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямился и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском ручной мойки, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было, и не было условий, чтобы щадить нас милосердием.

Обработанный солдат какие-то минуты еще остается в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормозить, приговаривая:

- Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносила это с механической однотонностью, как, наверное, уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня - тем, что длинной вереницей лежат за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везут сюда, и многим другим, которые в этот час находятся к западу от сосновой рощи, еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю...

- Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым, запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

- Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят. Сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, другая вытирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

- Следующий! - выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони...

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав

был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для растопки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь, - на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые окна могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезала едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на неизвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще-радостно узнавать родную сторону по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: "Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?!", "Есть горячие шти! Шти горячие!", "Покурим, покурим! - И, пытаюсь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: - Самосадик я садила, сама вышла прода-а-ва-ать..."

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от войны.

- Интересно, где теперь наши? - спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась тоска и зависть.

Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Совинформбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

- На войне, как в шахматах, - сказал Саша. - Е-два - е-четыре, бац! - и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой.

К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.

- Теперь мат будут ставить без нас, - задумчиво продолжал он.

- Нешто не навоевался? - басил мой правый сосед, Бородухов.

- Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут

колошматить.

- Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на "о", отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала как веревочный гамак.

Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закричав, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролежала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворотило, перебило, нарушило, и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупковских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих пахло собственным тленным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя понять и допустить собственную смерть я по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны - это всего лишь испытание... Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое... Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, но страху нагоняло изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, хотя проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали. Откуда-то взявшийся на гребне дюны "фердинанд" первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще все ликовало, быть может, в это самое мгновение я все еще хохотал над удиравшими танкистами - и закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями...

- А ты не балуй на войне,- резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь.- Баловство - оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина были перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже

загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась "самолетом".

Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в извозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, если позволяли фронтовые условия - гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

- Медалей много навоевал?- интересовался Самоходка.

- Да какие медали...- слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин.- За езду рази дают...

- Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

- Как не видел. За четыре-то года... Повида-а-ал...

- Стрелять-то хоть доводилось?

- Да и стрелял... А то как же. В окруженье однава попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... Да и стрелял, куда денешься.

- Убил кого?

- А шут его разберет. Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова...

- Небось перепугался?

- Да и страшно... А то как же.

- Это где ж тебя так разделало?

- Заблудился с обозом. Я говорю - туда надо ехать, а старшой - не туда. Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда что... Обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром. Он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, обрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

- Ты давай ешь,- наставлял его Бородухов.- Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гинуть-то.

Копешкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

- Ему бы клюквы надавить,- говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле

Копешкина сестру с тарелкой на коленях.- Дак где ж ее взять... Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как добро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз на имя Копешкина пришло письмо - голубенький косячок из тетрадной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

- Из дому? - спросил Бородухов.

Подернутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

- Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копешкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

- Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

- Сам хочет, сам,- догадался Самоходка.

- Ежели может, дак пусть сам,- сказал Бородухов.- Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копешкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, написанными послунявленным чернильным карандашом, было выведено: "Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень".

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон, на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж, с тем чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие и там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползть по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места были привилегированными: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, кареглазыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны были и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже коротко стриженный под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

- Гляжу,- рассказывала нянька,- а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю ему, давай, милай, помогу. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

- Чего ему? - поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.

- Спрашивает у Михая, что видно за окном,- разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

- Солнце вижу... Поле вижу...- не оборачиваясь, ответил Михай.

- Далеко, спрашивает,- переводил я шепот Копешкина.

- Поле? А там... За рекой.

- Какое оно? - говорит.- Что посеяно?

- Зеленое. Хлеб будет.

Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виделось нам, лежащим у дальней стены,- очистившемуся, синему, высокому чувствовалось, как там теперь привольно.

- А на улице что? - помолчав, спросил Саша Самоходка.

- Дома, люди...

- Девчата ходят?

- Ходят.

-- Красивые? - допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

- Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

- А! - Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

- Ему теперь не до девок,- сказал Бородухов.

- Эх, братья-славяне! - с горькой веселостью воскликнул Самоходка.- Мне бы девчоночку! Доскандыбаю до своей матушки-Волги - такие страдания разведу, елки-шишки посынятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливицков Саенко и Бугаев почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они забирали курево, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу - Саенко правую ногу, Бугаев левую,- упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветряной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо.

Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи порвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

- Нэ надо... Что тебе стоит?

- Схватите пневмонию. Разве вам мало форточки?

- А! - морщился молдаванин.- Ты послушай, послушай... Птица поет.Михай культей обнимал Таню за плечо и подводил к подоконнику.- Слышишь, как поет? А ты говоришь - форточка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась. Она продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было настороженно - и слух, и нервы. Саенко и Бугаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник, Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый "Дюбек", пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культя, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

- Спишь?

- Да нет...

- Кажется, Дед приехал.

- Похоже - он.

- Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: он был строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых случаях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду и благодаря этому получавший всяческие поблажки - лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее,- поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: он похаживал в общежитие к ткачихам и не хотел появляться перед серпуховскими девушками в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста. "Чтобы носить эту Звезду,- сказал он ему,- одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это". Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены.

- ...выдать все чистое - постель, белье.

- Мы ж тильки змэнили.

- Все равно сменить, сменить.

- Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

- Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалеите продуктов.

- Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

- Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

- Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.

- Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

- Та яснэ ж дило...

Шаги и голоса отдалились. "Бу-бу-бу-бу..."

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулками толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

- Все! Конец! Конец, ребята! - завопил он.- Это, братцы, конец! - И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как о сук, потерял глазами о правый обрубок руки.

- Михай, победа! - ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаев, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

- Сашка, проснись!

Бугаев запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаева за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаев, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

- Дубина ты бесчувственная. Победа, а ты дрыхнешь! Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался. Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

- Это у меня... нога привязана...- сопел Самоходка.- Я бы тебе... вставил, куда надо...

- Бросьте вы, дьяволы! - окликнул Бородухов.- Гипсы поломаете.

-- А, хрен с ними! - потрянул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,

Юбка лыковая...

Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубном, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога

Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

- Братцы! - Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты.- Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего, резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

- Это что еще такое? Сейчас же по местам!

Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили.

- Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаев! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет - посмотрит...

Таня под села к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.

- Спите, спите, Копешкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее, Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежду пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а то и просто в одном исподнем белье,- повалили на улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

- Что там, Михай?

- А-ай-ай...- качал головой молдаванин.

- Что?

- Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах, переживать эту радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас: "Держите!" - и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, забыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.

- Да миленькие ж вы мои-и-и! - навзрыд запричитала какая-то женщина, разглядевшая Михая.- Ох да страдальцы горемычныи-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

- Мам, не надо...- долетел взволнованно-тревожный детский голос.

- Ой да сиротинушки вы мои беспонятныи-и-и! - продолжала вскрикивать женщина.- Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

- Ну, не плачь, мам... Мамочка!

- Брось, Насть. Глядишь, еще объявится,- уговаривал старческий мужской голос.- Мало ли что...

-- Ой да не вернется ж он теперь во веки вечныи-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой...

Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь:

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:

Идет война народна-йя-яя...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за ним песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней - отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас...

Оркестр смолк, и сразу же, без роздыха, лихо, весело трубы ударили "яблочко". Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,

Куда топаешь?!

До Москвы не дойдешь

Пулю слопаешь!

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!

Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался.

Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу, заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.

- Давай, кто там?! - отозвался Саша Самоходка.

- Разрешите?..

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и с каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

- С праздником вас, товарищи воины! - Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. - Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

- Какие тебе, батя, фотографии, - сказал Саша Самоходка. - На нас одни подштанники.

- Это ничего, друзья мои. Уверю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестьем по красному верху.

- Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? - Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящевом носу. - Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

- Все будет в лучшем виде, - приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михе сверкающие пуговицы. - Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться. - Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя. - Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

- Как - "чину"? - не понял Михай.

- Сержант? Старшина?

- Нэ-э...- замотал головой Михай.

-- Он у нас рядовой,- подсказал Саша.

-- - Это ничего... Если правильно рассудить - дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришил их к широким плечам Михая.

- Желаете с орденами?

- У него при себе нету,- ответил за Михая Самоходка.- Сданы на хранение.

- Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

- Нэ надо...- покраснел Михай, у которого, как мы знали, имелась одна-единственная медаль "За боевые заслуги".- Чужих нэ надо.

- Какая разница? Если у вас есть свои, то какая разница? - приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге.- Я вам могу подобрать точно такие же.

- Нет, нэ хочу.

- Скромность тоже украшает. Так... Одну секундочку. Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

- "Отечественная", папаша, найдется? - спросил он, подмигивая Бородухову.

- Пожалуйста, пожалуйста.

- И "Славу" повесь.

- Можно и "Славу". Можно и полного Кавалера,- нимало не смутившись, предложил старичок, видимо поняв, что Саша все обращает в шутку.

- А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят - ахнут. Только не пойму,- изумленно хохотал Самоходка,- как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

- Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах - будет и фотография. Так я говорю? - тоже шутил старичок, морщась в улыбке.- Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.

- Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

- Давай танк, папаша! - покатывался со смеху Самоходка.- А гранату не дашь? Противотанковую?

- Этого не держим,- улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения.

Он якобы только что разделался с немецким "тигром" и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивается и устраивает перекур.

- Ну и дает старикан! - реготал Самоходка.

- В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

- Понимаю: не обманешь - не проживешь, так, что ли?

- Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имею благодарности.

- Тоже "в боевой обстановке"?

- Веселый вы человек! - жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

- Хотите манишку? - вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья.- Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря - нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

- Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

- Тогда давайте вы.- Старичок цепким взглядом окинул Копешкина, должно быть прикидывая, какие можно к нему применить декорацию и реквизит, чтобы и этому недвижимому солдату придать бравый вид.

- К нему, дед, не лезь,- сказал строго Бородухов.

- Но, может быть, он желает?

- Ничего он не желает. Не видишь, что ли?

- Понимаю, понимаю,- старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки.- Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

- Давай кончай...

- Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь. Нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

- Трупоед...- сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка - все больше вальсы, от которых щемило сердце.

Саенко и Бугаев вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охалками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом, зареванная по случаю праздника, с распухшим носом, тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

- Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие,- концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки.- Суп-то нынче добрый... Ох ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и - ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилось? Аж не верится. Какого супостата одолели, какую юдолю вытерпели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

- Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталось...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

- Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

- З победою вас, товарищчи!- поздравил он усталым, по-детски тонким голоском.- Скильки вас у палати?

- Семеро осталось.

- Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядысь.

- Есть распорядиться! - Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву гумбочку.- Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.

- Ни, хлопци. Нема часу.- Он вытер рукавом халата потный лоб.- У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так - как на произведение собственной расторопности. Видно, это вино досталось ему нелегко.

- Так вы давайте... А то суп охолонет.

- Спасибо.

- Було б за що.

Он ушел.

Саенко осторожно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих, разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди.

Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, обещали какое-то таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

- Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли...предложил Саенко.

- Да давайте.

- Пусть сперва Михай,- сказал Бородухов.

- Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

- Это само собой.- Бугаев взял Михаев стакан.- Ты давай присядь, а то не дотянусь.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

- Ну, браток... за Победу!

- Ага.

- Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

- Ну ничего... поехали.

Мы посмотрели, как Бугаев, наклоня стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

- Во, парень,- удовлетворенно сказал Бугаев.- Это дело. Ничего, наловчишься...- Он вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить.- Я одного такого знал, как ты, так он приспособился: зубами брал стакан за край и высасывал все до доньшка!..

- Вино пить можно. А как его теперь дэлать будешь? - Михай тряхнул узлами рукавов.- Вину руки нужны.

- Ничего, браток! Не падай духом. Жинка поможет

- А-ай-ай...- Михай покачал головой.

- Ну, будет, будет про это...- прервал Бородухов и степенно провозгласил: - Давайте, ребята, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было - то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копешкиным тумбочку букет

подснежников, принялась кормить его с ложки.

Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

- Ты ему винца вплесни,- посоветовал Саенко.

- Вы что, смеетесь?

- А что? Пусть солдат разговееется.

- Ему же нельзя.

- Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

- Не говорите глупостей.

- Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.

- Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку,- решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

- Не выпишут - убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

- По дороге потеряешь,- засмеялась Таня.

- Честное гвардейское! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться.- Саша заметно охмелел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами.- Ребята, поехали? Нашими дружками будете. Такую свадьбу сварганим... Эх, и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко, а внизу Волга... Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Парохода идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

- Нэ-э, я домой.

- Что у тебя там? Успеешь.

- Как что? - Михай вскинул рыжие брови.- Как что? Не был - не говори!

- Нет, брат.- Самоходка мечтательно уставился в потолок.- Где Волга не течет, там не жизнь.

- Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Нэ пил.

- Квас, знаю.

- Что понимаешь? - горячился Михай.- Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую,- он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке.- Пей, пожалуйста! Выпьешь - под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь - нету жизни. Поедем - увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду нэ пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

- Что ж вы не едите? - Качала головой Таня, насильно вливая Копешкину бульон.- Ну съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами...

- А у нас на Мезени пиво теперь варят.- Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая доньшко ложки куском хлеба.

- Сегодня везде празднуют,- сказал Саенко.

- Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени... А пиво я люблю чтоб с брусникою.- Бородухов выразительно побрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену.- Благо! Давно не пивал.- И добавил задумчиво: Оно, поди, теперь не из чего варить...

Таня кое-как покормила Копешкина и, сама больше намучившись, ушла.

Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и - чего уж темнить! - почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири.

Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаев - коренной енисейский чалдон.

"Сколько разных мест на земле",- думал я, слушая разговоры.

Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника.

Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю...

- Тише, ребята...- Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами.- Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

- Пить?

Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки

- Утку?

Копешкин поморщился.

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

- Ты чего, друг?

Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

- Так, так... Ага, понял...- Саенко закивал и перевел нам:- Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну, и что там у вас?

- Хорошо тоже... - разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина.

- Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копешкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Где-то там, в неведомом краю, стоит и копешкинская деревенька с загадочным названием - Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копешкина она - центр мироздания.

Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей - майская свежесть хлебов. Вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копешкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с вниманием разглядывал рисунок.

Потом прошептал:

- Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку.

Копешников, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечеряющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжело вздыхал между песнями и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копешкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михеевы песни.

А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголодав участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от этих берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую, промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копешкина, уложили в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим, отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную, праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже ничто... Его не просто вынесли из палаты его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копешкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое нечто, именуемое прахом. И это все? - спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. - Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле? Эта возможность его появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю - от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился...

Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскрыют, установят причину смерти и составят акт.

- Ох ты,- проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарями картинку с копешкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я теперь и сам верил, что такая вот - серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой,- такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о Победе, и все в доме - в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них...

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешкиным тумбочки и взял стакан.

- Зря-таки солдат не выпил напоследок,- сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне.- Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

- Иваном,- сказал Саша.

- Ну... прости-прощай, брат Иван.- Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую крахмальную наволочку.- Вечная тебе память...

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

Во субботу, день ненастный

1

Однообразно-серое небо недвижно висело над аэродромом. С осенней ленцой крапал нудный, обложной дождишко.

Сеялся он с ночи, и взлетное поле, ровное и пустое, с одинокой, наспех сколоченной диспетчерской будкой посередине, побурело и потерялось краями за сизой моросью. Лишь с одной стороны к нему подступали призрачные очертания старых деревьев, казавшихся особенно высокими в тумане, за которыми еще более смутно угадывались окраинные постройки районного центра.

Райцентром здесь именовалось большое село, разделенное пополам худосочной речушкой Варакушей. Речка привередливо петляла и рылась в хлябкой низине, заросшей камышами, лозой и красностволым дурманым дудником. По весне она затопляла все это от склона до склона, так что избы, отбежав на сухие взлобки и растянувшись по ним двумя бесконечными улицами, гляделись друг на друга через камышовую чащобу с почтительного расстояния. Ближе к центру села Варакуша была подпружена глиняной дамбой, разлилась широкой стоячей водой, и на этой воде весь день гомонили, полоскались и смертно дрались стая на стаю заживевшие осенние гуси. По утрам они слетались сюда прямо из калиток окрестных дворов, а днем - с сухоподольной озими, что зеленела по буграм за домами. Перед тем как опуститься на воду, они старались как можно дольше протянуть, продержаться в небе. Тяжело и трудно махая крыльями, заполошно кегекая, удивляясь самим себе, что так высоко летят, они проносились над дворами, над торговой площадью возле заколоченной церкви, по сторонам которой толпились скобяные и книжные магазинчики, парикмахерская и новая кирпичная чайная, потом, спускаясь все ниже, летели над школьным двором и садом, откуда в них швыряли яблоками и кепками, и под конец, потеряв строй и высоту, беспорядочно ломались к воде сквозь береговой ракитник. Гусиный ликующий гам проникал даже в кабинет предрика, куда я заходил по делам своей командировки.

- Вот черт, - говорил он, прикрывая форточку, - когда насыпали плотину, думали устроить озеро Рицу, с беседками и крашеными лодками. Беседки и лодки поразломали в один год, но зато гусей поразвели превеликое множество. Жизнь, так сказать, дала поправку.

Даже отсюда, с аэродрома, было слышно, как гоготали стаи где-то за дождем, за туманной хлябью.

Часов в восемь утра, когда я добрался до диспетчерской будки, возле нее уже собралось человек пять пассажиров. На чемодане, укрывшись офицерской накидкой, так что были видны одни только начищенные сапоги и белые резиновые ботинки, сидели, шушукались военный с

женой, а может, и не с женой... У дощатой стенки прятались от дождя две девчонки – обе в высоких прическах, прикрытых прозрачными полиэтиленовыми накидками, о которые с сухим треском разбивались крупные капли, копившиеся на карнизе. Красными нахолодавшими руками девчата бросали в округленные бубликом рты подсолнечные семечки и с вороватым любопытством прислушивались к шушуканью под палаткой. Топтался еще какой-то пожилой и сумрачный гражданин с портфелем, в очках, зеленой обвислой шляпе и тяжелом драповом пальто – должно быть, наезжий ревизор.

Потом подошли еще двое – грузная, закутанная бахромчатой шалью бабка и женщина помоложе, тоже полная, но крепкая и рослая, в васильковом шелковом плаще. Та, что помоложе, несла на изгибе руки большую, обшитую мешком одноручную корзину. Она поставила ношу у кассового окошечка, загороженного фанеркой, усадила на корзину запыхавшуюся бабку и, сама переводя дыхание, с приветливым добродушием оглядела публику.

- Будет – не будет самолет? – спросила она вслух у самой себя, ребром ладони запихивая под платок шестимесячные кудряшки.

Ей никто не ответил. По расписанию самолет должен был прилететь в половине девятого, а уже набежало без четверти, и каждый задавал себе такой же вопрос: «Будет – не будет?» Гражданин в очках вместо ответа только взглянул на небо. Он нетерпеливо топтался взад-вперед, придерживая обеими руками свой желтый портфель впереди себя у коленок и, прохаживаясь так, успел натоптать на раскисшей земле хлюпкую пятиметровую дорожку.

Неожиданно под бабкой резко, звонко, пронзительно гаркнул гусь. Все оглянулись. Даже военный высунулся из-под накидки. Он оказался молоденьким лейтенанчиком и был, судя по раскрасневшемуся лицу, немного под хмельком, а может быть, разогрелся так от интимной беседы со своей спутницей. Гусь забился в корзине и закричал еще громче. Девчонки переглянулись и прыснули.

- Ну чего ты, чего ты, – засмушалась женщина в васильковом плаще и с виноватой улыбкой посмотрела на корзину. Гусь все вскрикивал просительно и тревожно, тыкал носом в натянутую мешковину, но бабка продолжала недвижно сидеть, широко расставив толстые отечные ноги в глубоких калошах.

- Черт знает что такое, – проворчал гражданин в очках, морщась и косясь на старуху.

- А что я сделаю? – еще больше засмушалась женщина, стоявшая рядом. – Накормленный, напоенный...

- На то автобус есть, – сказал гражданин в очках. Он подбежал к окошечку и забарабанил по фанерке согнутым пальцем. – Совсем избаловались...

- Говорила, мама, давай зарежем. Одни только неприятности, – сказала женщина. – Еще и корзину возьмут, за место посчитают. И люди вот обижаются...

- Сердит пока за стол не сел, – сказала бабка.

Гражданин промолчал и еще раз побарабанил в оконце.

- Ну чего здучите? – взъярился наконец молчавший до того диспетчер, появляясь в дверях будки. Щуплый, обиженный, был он одет в выцветший на плечах синий ватник и резиновые сапоги с байковыми отворотами и выглядел по-домашнему. И не брит был тоже по-домашнему.

Только гевезфовская фуражка, фасонисто сдвинутая набок обозначала его высокое предназначение.

- Здучат и здучат... - с напускной суровостью проворчал он, но, видимо, довольный тем, что может вот так строго говорить с каждым.

- Так ведь уже больше часу ждем, - с простодушной виноватостью отозвалась женщина.

- И я жду, - диспетчер циркнул желтой табачной слюной. - Запоздывает...

Морщась от дождинок, он пошарил глазами по мутному небу, перевел взгляд на шест с обвисшим полосатым конусом, потом достал из кармана большой амбарный замок, повесил его на дверь и, побалтывая ключом на веревке, поглядывая на свои сапоги, на то, как они разъезжаются на ослизлой земле, пошлепал к райцентру.

- Куда же вы? - возмутился гражданин. - Как в Конго, ей-богу...

- Все улетите... Сказано, - не оборачиваясь, отозвался диспетчер и вдруг, замахав руками, погнался за мокрой, взъерошенной коровой, которая забрела к самой будке.

- Куды пресси?! Геть - пошла, пропасти на вас нетути!

Корова, оставляя глубокие жирные рытвины на раскисшей земле, отбежала прочь и лопухом вызрилась на диспетчера.

- Целый день, знай, гоняю...

Диспетчер ушел неизвестно куда и на сколько, растворившись в мороси. Вскоре, взявшись за руки и над чем-то хохоча, убежали девочки.

Дождь не дождь, но я успел промокнуть в своем легоньком пальто и тоже пошел поискать прибежища, решив, что если появится самолет, то непременно услышу его гул в небе. Да пока он сядет, разгрузится, пока пилоты перекурят времени будет предостаточно вернуться на аэродром.

2

Я пошел не по натопанной дороге, которая выводила на улицу окольно, а напрямик, по аэродромной траве, к маячившим впереди деревьям. Несмотря на ненастье, было у меня легкое настроение, должно быть, оттого, что завершил свое дело. Я особенно не сетовал на опаздывающий самолет и даже на этот въедливый дождишко, который мне и вовсе пришелся бы к настроению, если бы со мной были плащ и сапоги: люблю побродить по полю или же по опустевшим лесам, чутким и гулким, как заброшенные храмы. А то встретиться поблизости копенка сена, я с удовольствием привалился бы сейчас к ее обдерганному коровами сухому подножию и лежал бы так, наблюдая за вороной, одиноко тянувшей по серому осеннему небу. Или, жуя травинку, добиваясь от нее какого-то вкуса, думал бы о минувшем лете, о живой шумливой траве, которая теперь вот уложена всем скопом в сенной ворох. Зимней лунной ночью к стожку начнут подбираться сторожкие русаки, и радостно глядеть, закопавшись в копне с ружьишкой, как они то и дело встают столбиком, роняя на искристый снег долгие синие тени...

Шагая по мокрой траве к селу, я вспомнил, что уже давно не писал о таких вот милых пустьках. И вообще хотелось написать что-нибудь простое, бесхитрое, ни на малость не

вмешиваясь в течение жизни, хотя бы вот о таком сером осеннем деньке, о бабкином гусе, зашитом в корзине, должно быть еще молодым, не долетавшем своего срока до веселых морозцев, когда воздух резок, как спирт, и вода холодна, и особенно красны на первом снежку гусиные лапы, о том, как иду сейчас полем и как встречу кого-то в деревне и заговорю с ним или с ней, еще не зная о чем, – написать так, как было, как будет, как виделось, без привиранья и лукавства. И почему-то вспомнилось мне яшинское:

Медведя мы не убили,
Но я написал рассказ
О том, как медведя убили,
Какие мы храбрые были,
Когда он пошел на нас.

Зная, что меня теперь никто не услышит, я попробовал напеть стихи на мотив «Я люблю тебя, жизнь»:

В журнале меня-я хва-ли-ли-и-и
За правду,
За мас-тер-ство-о-о-о...
Медведя мы не уби-ли-и-и,
Не видели даже его-о-о.

Дальше мотив как-то не пришелся, и я, перелезая под высокими деревьями через плетень, захрустевший подо мной всеми своими иссушенными и выветренными костями, а теперь мокрыми и ослизлыми, дочитал стихи без напева:

И что еще характерно:
Попробуй теперь скажи,
Что факты недостоверны —
Тебя ж обвинят во лжи.

Так, бормоча про шкуру неубитого медведя, я очутился в чужом огороде. Дождь копошился в опавших тополевых листьях, далеко усеявших гряды, и был он здесь слышнее, чем в поле. Огород уже перекопан и истоптан, но на одной грядке еще матово голубели крепкие студёные кочны и свежо и остро пахло поздней капустой, а еще горьковатым палым листом и посыревшей усталой землей, отработавшей свое. На старом подсолнухе, забытом у межи, предзимне тинькала синица. Прицепившись к его поникшей растрепанной голове, она теребила пустую жухлую решетку. И тоже было хорошо видеть этот живой и неунывающий желто-зеленый комочек бытия. И был приятен своим домовитым уютом стук топора за сараем.

Я пошел на этот стук, отыскал в плетне огородную калитку, снял с кола лыковую петлю, удерживавшую дверцу запертой, и, остерегаясь собаки, но в то же время желая все-таки, чтобы она выскочила и облаяла – не мрачный цепной Полкан, а суматошная и незлобивая собачушка, что через минуту уже приятельски тычется в колени, нетерпеливо перебирает передними лапами и метет землю хвостом, – протиснулся за лозовую скрипучую калитку.

Собака не выскочила, не облаяла, а в пустом дворе таяла топором женщина. Голова ее была небрежно обмотана хлопчатым мелкоячеистым платком, забранным внутрь воротника все того же стеганого ватника, так удачно кем-то придуманного, что и поныне его предпочитают в нашей несуровой местности всем прочим одежкам, – и в лес по дрова, и в город за хлебом, и так просто дома расхож да ловок, а если нов еще, то и в праздники. Носят его от млада до старого, иные так и всю жизнь, только роста меняют, как раки меняют скорлупу. У меня и у

самого такой: добрая штукенция, а если сверху полушубок набросить или, на худой конец, пододеть козловую безрукавку, то и вовсе стой себе у проруби, таскай окуней.

Женщина выдергивала из мокрой кучи хвороста плоско слежавшиеся лозины и, прилаживая на плахе подобно тому, как придерживают куренка перед тем, как отрубить ему голову, сноровисто отсекала полуметровые полешки, а потом, когда хворостина истончалась, секла и ветвистые концы. Нарубленное она складывала в ровный ворошок, белевший в мою сторону свежими косыми торцами, после чего выдергивала новую хворостину. Я стоял у сарая, смотрел, как она рубит, и она долго меня не замечала. Заметив же наконец, женщина выпрямилась, свободной рукой сдвинула съехавший платок на затылок. Мокрый блестящий топор в другой ее руке повис вдоль кирзового сапога.

Было ей лет за сорок, а то и под пятьдесят, суха и мелка темным дубленным лицом, некрасиво-востроноса, и серые, полураскрытые и растянутые в частом дыхании губы светлей, чем само лицо, разгоряченное работой. Неосознанно, безо всякой для себя надобности, я пожалел, что она немолода. Нам ведь, мужикам, все хочется, чтобы нас окружали молодые и красивые. Едешь в поезде, и всей-то езды на три-четыре часа, казалось бы, что тебе до проводника. Ан нет, почему-то чувствуешь себя бодрее, когда знаешь, что в твоём вагоне молоденькая проводница. Даже лишний раз покуришь в коридоре. Или в магазине: из молодых рук возьмешь и жирную ветчину, не станешь препираться... Да что поезд или там магазин! Лежишь в больнице, температура под сорок, глаза осоловелые, а все же приятнее, когда подсядет врачиха помоложе. Даже если и министр, вот как занятой человек, тысячи бумаг, сотни прошений, важен и суров с виду, а зайди к нему просительница, если, конечно, не явная рухлядь, – суров-то суров, а все равно улучит момент и оценит. А ежели хороша собой, то невольно, хочет не хочет, а помягчает, хотя и сам понимает, что не положено: все-таки при исполнении высоких обязанностей... Что поделаешь, видно, не нами это устроено...

Моя суженая была немолода, и я лишь на мгновение пожалел об этом, даже не я, а что-то во мне, помимо меня. И уже через секунду, смирившись и позабыв об этом подспудном толчке, я с фальшивой бодрей, с какой-то юродинкой зябко потирал руки, изображая сирого и бесприютного.

- Пустила бы, хозяйюшка, к печке. Ждали, ждали самолет, а его все нет, проклятого.

Должно быть, вид у меня был не совсем разбойный, но и не начальственный – пальто да кепка и никакого пугающего портфеля (в деревне казенный портфель – всегда какая-нибудь смута), а потому она сразу же откликнулась:

- Да какой самолет – вон как обложило.

Она врубила топор в колоду и, нагнувшись, принялась собирать растопку.

- И диспетчер куда-то ушел, – сказал я, продолжая потирать ладони.

- Пойдемте уж... Только печка еще не топленная.

Она подхватила беремок и направилась к сеним, гулякая разластыми голяшками сапог. Просыпав по дороге несколько полешков, она быстро обернулась, но, заметив, что я подбираю, пошла, заговорив уже совсем доверительно, по-свойски:

- А вчерась вроде был самолет. Утром бегла в магазин, дак слыхала – рипел. А и автобус небось нынче не пойдет, глейдер расквасило.

Вслед за ней я прошел в темные сени, различая тугие тела насыпанных мешков в углу, коромысло и волосяное сито на стенке. Забилась, заметалась на мешках и с дурным криком, загромыхав опрокинутым ведром, прошмыгнула меж ног на свет, за порог, курица.

- Проходьтя, проходьтя, - ободряла меня хозяйка уже из кухни, видя, как я втягиваю голову перед низкой дверной притолокой. - Да уж чего там ноги вытирать, все одно пола нету.

Со свежего воздуха резко потянуло духом чужого жилья: каким-то варевом, застарелым дымом. Маленькое, на уровне пояса оконце, заплаканное дождем, роняло непривычно низкий свет прямо в разверстое устье холодной печки. На подоконнике, среди мутных пустых бутылок равнодушно и безжизненно торчал из консервной банки отводок цветка алоэ. Колючий и неказистый, он почти совсем перевелся в городах, особенно в пору пенициллинов, и его держат теперь лишь сердобольные старушки, все еще памятуя как о сподручном лекарстве.

Женщина сбросила дрова к подножию печи, на землю, истыканную острыми поросячьими копытцами, и, не раздеваясь, приговаривая: «Сичас, сичас... А я вчерась не управилась нарубить, дак и припозднилась с печкою», - полезла открывать вьюшку, ступив на полку - дощатый настил между печью и горничной перегородкой. Учув хозяйку, настороженно гукнул под полком поросенок. Он приладил свой пяточок к дверной щелке и, шевеля им и втягивая воздух, докучливо заверещал, заканючил.

- Узё-ё! - Она притопнула сапогом по доскам настила. - Поори мене, скаженный, Витьку разбудишь... Сейчас наварю.

Я снял кепку и присел на краешек скамьи перед столом, рядом с ведрами, в темной глубине которых на взблесках воды покачивались черные перекрестия оконной рамы. Сидя так, я оглядывал убежище, приютившее меня. Из-под стола высывалось лукошко, набитое кусками свежего розоватого сала, густо пересыпанного крупной замокревшей солью. Несколько кусков почему-то валялось на земле, у подножия лукошка, и на один из них я чуть было не наступил ботинком. Я принялся подбирать, но хозяйка, заметив мое смущение, замахала с полка:

- Небось, небось... Это поросенок пораскидал. Все балуется, демоненок. Ему и лиха мало, что, можа, это мать его посоленная лежит, - усмехнулась она. - Отлучись, а ему тут своя воля. В лукошко лезет, чугунки с лавки скапывает... Один грех с ним. - Она опять усмехнулась, глядя на меня сверху, с полка. - Намедни рушник с гвоздя сдернул, бегаёт, запутался, телепает - весь об пол измызгал. Как кутенок. Хоть не выпускай. А в закутке держать жалко, сосуночек еще...

Она принялась собирать на печи сухую разжижку и, шебарша щепками, говорила откуда-то из глубины запечья, вся перегнувшись туда с полка, вытягиваясь и привставая на носки, отчего из сапог высывались голые, напряженно-угловатые икры в уродливых жгутах синих вен.

- Да и сарай такой... Вот Витька, может, подладняет... Да теперь чего ж ладнять... дожжи пошли. А и то, слава те господи, со свеклой управилися.

- Это хорошо, - отозвался я, имея в виду убранный свеклу.

- Да уж отмаялися. А то нешто благо по грязи-то убирать, кабы б дожжи. Оно хочь и машины теперь, а все одно работы много... Машина-то она слепая, за ней тоже догляд нужен. А еще ж погрузить... Полтора-два центнера на гектаре, а в колхоза их пятьсот. Бабе оно завсегда на чем живот порвать сыщется...

Она прыгнула с полка с пучком лучин и, положив разжижку на шесток, принялась выгребать

золу. Кочерга утробно тыркнула по кирпичам пода.

- А теперь и надо б помочить, - говорила она за ловкой своей работой. - Хлебушко по сухому сеялся. Ему и так, бедному, ничево... Все под бурак да под коноплю сыпуть, а ему опять ни граммешки. Байки одни. Сердце изболелось, на него гляючи. Взшел квелый да неохотный... Какой же он будет, коли уже теперь такой... А ему ж еще под зиму итить.

О хлебе она говорила «он», «ему» - как о живом существе.

- Это плохо, если так, - поддакивал я, разглядывая большой брусковатый фуганок, висевший на горничной переборке. Был он из какого-то темного, с красниной, дерева, и на его смуглых, лоснящихся боках проступали витиеватые, узорчатые слои.

- Мужев струмент, - перехватила мой взгляд хозяйка, подпаливая выложенный на полу дровяной колодчик.

- Хороший фуганок, - похвалил я.

- А и хороша-ай! - кивнула она, обрадованная похвалой. - Мастера смотрели, тоже так говорили. Сказывают, лёзги дюже хорошие. А мой дак когда и брился лезгою. Уж так, бывало, правит, так правит... До того, чтоб газетку состругивало... Ежели букочки снимает, а газетка цельная остается, не прорезывается насквозь, тади бросает точить... А после того побриться любил. Свежей-то лезгою. А мне дак и страшно делается, как он по лицу вострой железкою. У нево весь струмент такой был ухоженный. Дюже любил, штоб все в аккуратности было...

Печь разгоралась, сипели и потрескивали лозовые дровца, пузырились обрубленные концы, роняли капли на жаркие угли, которые, допламенев, сами собой распадались на одинаковые округлые кусочки, осыпая наставленные чугуны. Дым, обволакивая поверху устье, розовым холстом бежал навстречу и уже серым загибался в трубу. Хозяйка, по-прежнему в телогрейке, лишь платок отбросив с маленькой головы на заплечья, проворно шастала по кухне - то поскребет какую-то посудину, то ухватом поправит чугунок, отодвинет подальше, если начинал закипать. Стены, потолок, ведра на лавке, бутылки на подоконнике - все заиграло веселыми красноватыми отсветами, и совсем славно запахло ракиотовыми дровами. Я сидел поодаль, а и то чувствовал на лице и на руках приятное тепло, пальто мое начало парить и попахивать пареной и кислой материей.

- Это ж он сам делал, - кивнула она на посудный шкафчик справа от окна.

Я сначала не обратил на него внимания, но теперь из вежливости принялся разглядывать. Стоял он в темном углу между окном и сенишной дверью и сам был темен от времени. В его потускневшем лаке где-то глубоко и глухо тоже плясало багровое пламя печи. Но я все же разглядел резьбу на дверцах - трехпалые, похожие на клевер, листья и какие-то птицы с чешуйчатым оперением. И пока рассматривал, женщина, опершись на ухват, с робкой настороженностью ожидала, что скажу.

- Тонкая работа. Это что же за птицы?

- А не знаю... Это он все выдумывал.

Женщина в раздумье поковыряла в печи ухватом.

- Он-то не здешний был, с Архангельску. А сюды на подряды приезжал, с товарищами. Кому конюшню, кому что... По колхозам. Два лета так. Ну, мы с ним и сошлись. Это ж он, как

поженились, скапчик-то сделал. Бывало, прибежит с работы, повесит на дереве фонарь – дерево во дворе стояло, засохло – и все пилит, стружит. Скапчик-то этот. И ночь уже, мошкара около фонаря мельтешится, а он все стружит. А я ему: Коля, да что ж ты так-то – там работаешь, дома работаешь, не к спеху бы. Жить будем, так все и поделаешь потихоньку. Не слушается, все работает. А я и сама стою около, да и засмотрюсь на ево. То одним рубанком досочку пробежит, то другим, яичко положи – не шелохнется: так гладко да ладно. А ему все мало. А уж когда сошьет вместе с шипами да клеем, то опять стружит. А опосля всего возьмет этот-то вот большой да еще и им отгладит. Фуганок аж птицей посвистывает, а стружка ну вот тонка, вот тонкусенька, чуть не светится. Я, бывало, наберу ее, обдам кипятком, запарю да потом цветы делаю. В луковый отвар да химический карандаш разведу – покрашу, ну как живые...

То ли от печки, а может быть, и от разговора она вся раздумянулась, запылала худым темным лицом, и сквозь заветренность и не в пору ранние морщины пробилось что-то далекое, девичье, какое-то стыдливо-радостное смущение.

- А птиц-то он уж опосля наметил да и вырезал. Стамесками да долотцами разными. Уж дюже забывался он за работою. Долбит, а в волосах стружки вот как понапутляются. Волос у него весь вился, тоже как наструганный. И так у него ладно все получалось. И травки и листочки всякие. А я гляжу теперь, и все вспоминается, как мы с ним первый покос косили. Когда поженились. И птицы вот так тоже были. Сидит она на щавели-ночке и ну свищет, ну свищет. Коси около нее – не боится.

Она постояла, с тихой задумчивостью глядя на огонь, и я пытался представить, какой была она в молодости.

- Все звал к себе туда. Сказывал, дома у них высокие, окна не достать, леса – конца-краю нет. Покосы вольные. Хотелось мне поехать посмотреть. Да так и не собралась: то Нюркою, старшей дочерью, затяжелела, а тут и война вот она... Загадывал хату перебраться, полы постелить. Дюже непривычно ему было без полов. В кухню выходил, дак обувался, как во двор... Да так все и осталось, как есть. Один скапчик-то этот только и успел сделать...

- Погиб, что ли?

- Да сразу-то не убило... На побывку опосля ранения приезжал... А уж потом его, под самый конец... Вот все берегу, – кивнула она на фуганок. – От самой войны. Просили продать – не продала. Стамески да коловоротья, мелочь всякую – так Витька порастаскал, позабелшил, не углядела. Бывало, ругаюсь: Витя, сынок, да что ж ты делаешь, струмент растаскиваешь. Вырастешь – как раз и сгодится. Работать пойдешь, как батька. Где тади возьмешь такой струмент? Отец его по штучке собирал да копил... А уж и вырос Витька, а не заинтересовался етим. Оно если бы при отце, дак видел бы, как тот работает. Может, и поимел интерес. А так, что ж, лежит мертвый струмент, сам он ничего не покажет, не расскажет... Не привилось ему отцово. Так вот и висит на стенке... И не нужен, а продать чегой-то не могу, чегой-то жалко...

Она отлучилась в сени, вернулась с полумиской картошки и, продолжая рассказывать о муже и Витьке, о старшей дочери, что теперь замужем на Урале, пристроилась было чистить картошку прямо на шестке. Я приподнялся, уступая ей место у стола.

- Сидитя, сидитя, – запротивилась она. – А то лучше в горницу ступайте. Молочка бы, дак своего нету... Да вы раз-деньтесь, я пальто просушу. Будет ай нет самолет, а оно тем часом и провянет.

Видно, за то, что я поговорил с ней, послушал, ей хотелось чем-нибудь уважить меня, и она

просто-таки стащила с моих плеч мокрое пальто и проводила в горницу.

Горенка была об два окна и с полом. В простенке старенький комод, на середине – круглый стол под клетчатой скатертью. Ситцевые занавески в мелких синих цветочках прятали кровать у глухой стенки. Оттуда доносилось глубокое дыхание спящего, должно быть, Витьки. А она продолжала говорить мне через перегородку:

- Это ж еще тади, как коров в закуп отбирали, дак с тех пор и нету... Раз зашли: продавай да продавай, другой раз... Да и отдала, бог с ней, с коровою. Не отдашь, дак потом и горя с кормами не оберешься. За каждым пучком станут доглядывать: где взяла? А теперь и сама отвыкла, ну ее. Да и дети повыросли, сало вон есть. Станет Витька жить да внуки пойдут, дак тади, может, опять заведем.

- А вы в колхозе? – спросил я.

В колхозя, ой и в колхозя... – сказала она, появляясь в дверях горницы с ножом и полуочищенной картофелиной. – Правда, теперь многие по конторам служат. То больнички, то базы... Много тут контор всяких. Консервный завод вроде собираются строить. Да на контору грамоти нужно... Так что в колхозя мы... Да и куда ж теперь? Житье прошла. Теперь уж одново надо держаться. Вот и пенсию в колхозе стали начислять. Не знаю, как Витька порешит... Что-то молчит, ничего не говорит...

На кухне закипело, и она, убежав, загромычала сковородной крышкой, продолжая говорить о Витьке. Видно, ее очень беспокоило, останется ли сын дома или уедет, как уезжают многие, вернувшиеся из армии.

Я подсел к окну, выходящему на улицу, в палисадник. За мокрыми кустами смородины, сохранившими кое-какие листья, проглядывался крутогорый выгон, под которым, в самом низу, чернел колодезный журавль, а дальше серой туманной шубой простиралась камыши. К колодцу не спеша, с коромыслом и ведрами, спускалась какая-то молодуха. Несмотря на ненастье, она была раздета, в одном только полушалке, наброшенном поверх безрукавного красного платья, и лениво сходя, играя крутыми бедрами на скользком глинистом спуске, она озиралась направо-налево, оглядывая пустынную улицу. Посматривая на окно, у которого я сидел, она не спеша привязала цепь к дужке, не спеша опустила ведро, зачерпнула, перелила в другое, зачерпнула еще раз и, все так же не торопясь, посматривая на окно, прошла косою тропкой в гору, к соседним домам.

- ...Жить будет, дак и новую крышу справим, – продолжала говорить из кухни хозяйка. – Хотела в том году картошки на крышу продать, да ящур не дал, не пускали с картошкой. А нынешним какой-то жук, говорят, напал.

- Колорадский, что ли?

- Шут его знает. Тоже не пуцают. Я уж и картошку на палочку натыкала – нет, никаких делов.

- Это зачем же на палочку?

- А так теперь делают. Знак для проезжих шоферов. На палочку наткнут и перед домом тею палочку поставят. А шофера уже знают, что в этом дворе есть продажная картошка.

В горницу неожиданно залетел поросенок. Стукотя по полу копытцами, едва не упав на повороте, он обежал вокруг стола и остановился как вкопанный перед моими ногами. Глаза голубые, смышленные, хитрые, сквозь белую шерстку проглядывало чистое, младенчески-

розовое тельце. Я поднял носок ботинка и пошевелил им перед настороженной мордочкой. Поросенок гукнул животом, отскочил и, мотнув скуластым рыльцем, умчался в кухню.

- Иди лопай, лядущий, - заговорила с ним хозяйка. - Вынашивается, скачет...

Послышалось торопливое чавканье и похрюкивание.

- Покопай, покопай мне. А то в закутку запру, дак тади не больно будешь привередничать, все подберешь на холоди.

В окно смотреть наскучило, и я прошелся по горнице, разглядывая картинки и фотографии. В большой раме, узорчато выпиленной из фанеры да еще и подпаленной какими-то зигзагами, висело стекло, с обратной стороны которого по синему фону цветной фольгой были выложены три женские фигуры с наивными кукольными и в то же время порочными физиономиями. Под ними золотилась надпись: «Вера, Надежда, Любовь». У «Надежды», восседавшей в центре, были огненные кудри и синие глаза с лучеподобными ресницами. У «Веры» и «Любови» - смоляные косы, переброшенные на грудь, и черные жгучие очи, но почему-то без ресниц. Произведение это было еще ново и, должно быть, покупалось, как и оклеивалась свежими обоями сама горница, к Витькиному возвращению. Мне представлялось, как в радостном удивлении остановилась покупательница перед базарным китайцем, выставившим на прилавке пеструю и броскую мишуру, и как не могла отойти, стояла, смотрела и все-таки взяла. А потом везла домой, в автобусе, тихо радуясь и ревностно оберегая свою покупку, чтоб не раздавили в автобусной толчее. Был в этой покупке и свой особый резон, поскольку, кроме праздничной яркости, коей всегда недостает в крестьянском доме, несла она во вдове жилище еще и нечто символическое, долженствовавшее провозгласить извечные чаяния: чтобы в доме обрелись и Вера во что-то, и Надежда на что-то, и Любовь, без чего жить человеку невыносимо.

- У нас кто картошку в Донбасс свез - все с крышами железными, - между тем говорила она, возясь с поросенком. - А так, где ж его возьмешь, железо-то...

- Да, с железом трудновато, - отозвался я.

На комодке были разложены явно Витькины вещи. На подставке, изогнутой буквой «С», возвышалась черная пластмассовая подводная лодка, грозная своим стремительным видом даже в миниатюре. Небрежно валялись белые офицерские перчатки, которые самому Витьке в его звании и не полагались. Рядом стояла голубая «Спидола» и граненый флакон с оранжевой грушей пульверизатора. Из-за решетки «Спидолы» торчала фотокарточка, ажурно обрезанная по краям: хорошенький смеющийся чертенок-девчонка в короткой стрижке, растрепанной свежим ветром, в белом платьице и с босоножками в руке. Она стояла в накате волны, захлестнувшей пляжную гальку, а позади бурунилось и взмелькивало барашками бескрайнее море, и было оно не злобное, а только ветренное и солнечное. От этих вещей: подводной лодки, транзистора, фотографии приморской девчонки, от снежно-белых перчаток и даже от пузырька с резиновой грушей, который был пуст, но все еще источал тонкий праздничный аромат недавнего одеколона, - веяло иной, не здешней жизнью. Все это напоминало о далеких морских походах, свежих соленых ветрах, матросских вахтах, беспечных увольнительных на берег, когда перед тем в тесном и шумном кубрике старательно утюжились клеши, драились бороды и ботинки, одеколонились чубы и ленты бескозырок...

- Где служил-то парень? - спросил я через перегородку.

- А на Черном море. Сказывает, дюже красиво там. Целую сетку апельсинов привез...

- Повидал свет, стало быть.

- Да поглядел... В прошлом годи далеко плавали... Уж и забыла, в какую страну... Одну-то помню - Болгария. Это что все помидоры оттудова продают... А ту - вот запомнявала, какая это земля. Снегу, говорит, совсем не бывает. Теперь, слава богу, дома... Да скоро сахар начнут давать. За свеклу. Малому костюм надо справить, - быстро переключилась она на свои житейские заботы - вот уж верно: пока баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает. - Когда-то он себе заработает, одно флотское на ем... За четыре-то года, поди, надоела казенная одежда...

- Зато девчатам нравится, - пошутил я, все еще стоя перед комодом.

- Да чтой-то не больно, гляжу я, с девчатами, живо отозвалась она, и была заметна в ее голосе озабоченность и даже недовольство. - Третью неделю, как приехал, а - дома и дома... Все свое радио крутит, балаболку-то эту... Правда, вчора ходил куда-то... Аж утром пришел... Выпимши...

«Наверно, трудно было оторвать от себя такую...» - еще раз полюбовался я фотографией на «Спидоле».

- ...Он по радиу там служил. У ево это еще с малства. Все, бывало, проволоки мотает и мотает... Теперь и не знаю, какую ему работу дадут тут... Тоже горюшко... Говорила, учись по отцову-то делу, уж на что лучше, каждому нужен...

- Это тоже нужная специальность.

- Да есть тут при районе радио, дак туда бы...

- Радиоузел?

- Я не знаю... Кино объявляют да так чево... Посылала спросить, дак, говорит, нету таких мест, монтером только, по столбам лазить... А и по столбам что ж, ежели платят. Зато дома. И обстиран и обшит. Да и самой веселее. А то все одна и одна. В фэзэво учился - одна, да в армии четыре годочка... И старшая дочь пять лет как из дому. Жисть прошла - одна как палец. Я бы им и койку свою с периной отдала, - сказала она, пораздумав, имея в виду, должно быть, будущую невестку. - Живите. А мне тепер и на печке хорошо, таковская...

В сенях опять всполошилась курица, зашаркали ногами, слышались голоса.

- Ой, ктой-то еще идет, - хозяйка толкнула дверь навстречу.

- Можно к вам? - донеслось из глубины сеней. - Заходитя, заходитя, - с готовностью отозвалась хозяйка, отступая от двери.

Мне было видно из горницы, как неуклюже протиснулась в кухню сначала женщина в васильковом плаще, державшая впереди себя одноручную корзину, а за нею и бабка, закутанная шалью, - те самые, что вместе со мной дожидались самолета. Пока они входили, до меня докатились волны холодного воздуха и запах сырой одежды.

- Здрасьте вам, - устало, расслабленным голосом поздоровалась женщина в плаще. - Да зашли на дымок. Связались с этим самолетом, сами не рады. Попутной давно бы уехали.

Да и машины нынче небось не вот-то ходят, - тотчас сочувственно подхватила разговор хозяйка. - А у нас уже есть один человек, тоже дожидается... Да вы проходите, проходите, обогревайтесь, сейчас лавку ослобоню.

Звякнули ведра: хозяйка переставила их на пол.

- Гляжу я, что-то вроде знакомые будетья, - говорила она живо. - А где видела - не упомню.

- Да здешние мы. - Женщина достала из кармана плаща вчетверо заутюженный носовой платок, развернула его и принялась вытирать крупное и влажное лицо, помалиневевшее от уличного ненастья. - Цукановы мы, может, слыхали... На-ливайки по-уличному, - добавила она.

- Ну-те, ну-те... - задумалась хозяйка. - Это что возле сельпа?

- Ага, ага... Домик ошалеванный.

- Теперь признаю... Старичок еще у вас хроменький.

- Да старичка-то уже нету. Год как помер.

- Ай-я-я... Скажи на милость... - вежливо сокрушалась хозяйка. - Царство ему небесное. Или болел чем?

- И не болел, в голову что-то вступило. В одну минуту прибрался.

- Ай-я-я... Да вы садитесь. Да корзину-то поставьтя, чего ж ее держать, надержались небось... Узё-ё! - прикрикнула она на поросенка. - Куда принохиваешья, демоненок, не про тебя положено.

- Хорошенький кабанчик, - похвалила гостя. - Тьфу, тьфу - не сглазить.

- Да завела, пока того есть будем, - сразу озаботилась хозяйка. - А и морока в зиму заводить.

- И не говорите, - понимающе согласилась Наливайка-младшая. Теперь она с бабкой сидела на лавке и не была видна мне из горницы. - Ни травиночки, ни крапивочки, знай вари. Да и выпустить некуда.

- Ой и правда! А без него нельзя.

- Нельзя-я! - убежденно протянула Наливайка-младшая.

- Да все собираюсь позвать слегчить, пока маленький. Я кабанчиков чтой-то больше люблю.

Женщины, едва познакомившись, повели беседу с тем доброжелательным и чутким вниманием друг к другу, которое и теперь еще кое-где водится по укромным заповедным деревьям.

- Свинка хуже, - продолжала поддерживать разговор хозяйка. - Свинка в тело идет - дай гулять, не жрет, с боков спадает.

- Дак и огулять, вот тебе и выгода, - возразила Наливайка-младшая.

- Ну ее. Натерпелась я раз, дак зареклась маток заводить, - отмахнулась хозяйка. - Вот так-то годов пять назад усходилась свинья, ревет, закуту роет... Дай, думаю, огуляю. Поросятки как раз в цене были... Ну-те... Побегла я в правление. А мне: не можем. Да как же так? А очень, говорят, просто: свинья частная, а хряк колхозный. Не можем дозволить. Да что ж, говорю, с ним сделается, с хряком-то?

Женщины рассмеялись. Рассмеялся про себя и я.

- Ой, лихо мое! - оживилась хозяйка. - Побегла я в Кудиново, там, может, думаю, договорюсь... И там от ворот поворот.

- Да пол-литра взять бы, - засмеялась Наливайка-младшая.

- Брала я. Как же теперь без поллитры. Брала. А и магарыч не помог. Нельзя, и все тут. Строгое указание, говорит, такое дадено.

- А и правда, было тогда, - смешливым голосом подтвердила Наливайка-младшая. - Скот води, да в оба гляди, чтоб не заедаться.

- Свинье не до поросят, коли заживо палят, - вставляла бабка. Говорила она редко и всякий раз со строгостью, но женщины рассмеялись ее словам, и хозяйка продолжала вовсе весело:

- И смех и грех... Да уж со свояком уложили ее в телегу, морду веревкой обвязали да тишком, огородами свезли ее в Малаховку да там и окрутили по знакомству. Да и то сторож за воротами хвермы стоял, караулил, как бы кто не нагрязнул. А я-то сама сию в сторожке, жду, пока свадьба-то кончится, а сама как на угольях: вот набегут, вот прихватят. Чего доброго, свинью отберут. - Хозяйка машинально ковырнула в печи ухватом. - А теперь и разрешили, пожалуйста, да не хочу. Благо ее вести на ферму-то. Далеко... Ну ее, кабанчик спокойнее.

- А зачем вести? - сказала Наливайка-младшая. - Вести и не надо. Теперь на дому можно. Аким Ваньча позвать, он все и поделает.

- Да как же это он сам? - стыдливо рассмеялась хозяйка.

- У него все для этого. В чемоданчике носит.

- Ой, да что ж это мы про такое! - спохватилась хозяйка. - Человек у меня в горнице. Вот послушает-то...

Женщины поутихли, хозяйка зачем-то сходила в сени, вернулась и уже потом, поостыв и опять взяв уважительный тон, сказала:

- А вы, стало быть, дочка с мамашею. Гляжу, дюже похожие.

- Ага, с мамашею, - томно, прочувственно вздохнула Наливайка-младшая. - Да надумали съездить к Ване. К брату моему меньшенькому. Ваня-то наш теперь в городе живет. Пусть мама побудет, пока ноги ходят. Квартира у него хорошая, детей пока нет... Дак и пусть поживет до весны, до огородов.

- А я к своей никак не соберусь. К дочке-то, к дочке...

Тоже в городя, да больно далёко, аж на Урали.

- А наш тут, в области. Как отслужил действительную, побыл дома, поглядел и уехал. Не хочу и не хочу тут...

- Молчите... Не живут теперь молодые в семьях, - горестно подтвердила хозяйка. - Едут и едут, лишь бы со двора долой. Моя тоже: вербовка была на целину, заездила: поеду и поеду. Подружки сговорились, ну и она туды... Ни в какую. Чего, говорит, я тут сидеть буду. Молодость, говорит, моя проходит... Ну проводила. Платье ей в дорогу справила, кофточку шерстяную в городе на базаре по-дорогому взяла, туфли неodeванные положила... Из

последнего собрала. Поехала. За Волгу куда-то... А потом пишет в письме: чемоданчик украли.

- Да как же это? - ужаснулась Наливайка-младшая.

- А шут ее знает. Дура-то непужаная. Это они с матерью широкие, нос драть... Я так и охнулась: последние тряпьиш-ки!

- Да чего там говорить...

- А тут к весне прикатила ее подружка, здарсьте вам, отец-мать, радуйтесь: пуговики на пальто не застегаются... Нацелинничалась... Ой, лихо мое! Это ж она про ихний барак и порассказала. Ухажеры со всего степу около того бараку.

- Да уж известное дело...

- Правда, говорит, которые самостоятельные, с понятней, дак те и замуж потом берут, погулямши. И домик им дают отдельный. Да как же, ничего не видимши, узнаешь, который с понятней, а который с безобразней на уме?

- Нету, нету у молодых строгости, - поддакивала Наливайка-младшая.

- Ой и натерпелася я с этой целиной! Да опосля, слава те господи, человек попался, забрал ее из того бараку. Работали у них приезжие, колодцы рыли, да один и присватался.

- Так, так...

- На Урал к себе забрал. Хоть и татарин, а пишет, ничего, смирный, уважительный. Двое детишек уже. Обошлось, как камень с души... А теперь вот Витька, не знаю... Пишет ему одна, смущает малого... Глядишь, тоже завееется.

- И-и, да и пусть еде-е-ет! - нараспев высказалась Наливайка-младшая. - Малый - не девка... Вон Ваня наш... Что ж, говорит, я тут буду. И пять лет пройдет - Ванька, и десять - все Ванька. Деревня она и есть деревня. В одном звании... И верно, уехал, дак и живет теперь. До помощника В окно я увидел Витьку. Он стоял, прислонясь спиной к палисаднику, засунув руки в карманы и растопырив локтями накиннутый бушлат. Время от времени над его кудлатой головой взвивался дымок папироски.

Дождик, наверно, и вправду поутих, потому что заметно посветлело, и был теперь виден не только колодец под бугром, но и бурые чащобы камышей за ним и даже тот берег с окраинными домами заречной улицы. Только пахота на бугре за избами еще размыто синела.

По той стороне, полевой дорогой, мимо намокших, резко желтевших скирдов новинной соломы, плелась подвода, и было видно, как лошадь усердно мотала головой, помогая себе тащить телегу. Витька долго следил за нею, потому, должно быть, что ничего живого не попадалось на глаза и глядеть было не на что.

Глядел на телегу и я... Вдруг Витька обернулся и закивал мне, замахал рукой. Я было не понял, в чем дело, но тут и сам за разговорами на кухне, за шумом самовара услышал глухой и ровный гул самолета.

В доме сразу все всполошились. Хозяйка прибежала с моим пальто, просохшим, с горячей подкладкой, потом побежала помогать Наливайкам, сама же подхватила корзину и потащила в

сени.

- Ой, леший! Да что ж он так-то налетел, - приговаривала она. - Чаю не попили.

- И на том спасибо, - выходя, ссутулилась в низких дверях Наливайка-младшая. - Заходите когда...

- Да вы городами, городами бегите. Тут ближе...

Самолет, развернувшись над селом, серым кургузым саранчуком промелькнул за деревьями и пал где-то в поле.

Уже за сараем я торопливо сунул руку хозяйке, она, простоволосая, с откинутым на плечи платком, тревожно озабоченная тем, как бы мы не опоздали, неловко подала мне свою маленькую, неприятно жесткую и сухую руку и, приговаривая: «Вы уж извиняйтесь... Заходитя...», - растроганная не расставанием с нами, а скорее самой процедурой прощания, стыдливо и смущенно завлажнела глазами. Я взял у Наливайки-младшей корзину с гусем, и мы пошлепали торопливым скользучим бежком по раскисшей огородной тропке - я, за мной Наливайка-младшая и уже за ней, растопырив руки, толсто закутанная бабка.

- Час вам добрый! - кричала вослед нам от сарая хозяйка. - Ох, лихо мое!

3

К самолету никто не опоздал: в полутемном железном чреве кабины уже сидели и лейтенант со своей попутчицей, оживленной предстоящим полетом, и гражданин с ревизорским портфелем, и те две девчонки в высоких копноподобных прическах. В овальную дверь было видно, как внизу, возле стремянки, покуривая и часто сплевывая, нарочито налегая на матерок, панибратничал с пилотами аэродромный диспетчер. Наливайки сели в конце на разных скамейках, и когда самолет взревел, задрожал всем телом и помчался, они, грузно припечатанные к сиденью, уставились друг на друга, окаменело переживая оторопь.

Сначала за окном струилась близкая трава, потом она незаметно отступила вниз, стала полем, самолет накренился, поворачивая, земля резко провалилась, и в этом провале, в буром разливе камышей оловянно заблестела кривулистая речонка. Мы летели над долиной Варакуши, ближе к левому ее косогору, и вскоре внизу поплыли четкие квадратики дворов. Я даже разглядел сруб колодца под кручей с нитками тропинок, веером протянувшихся от него к избам, и, мысленно пробежав по одной из них, отыскал по вялому, затухающему дымку над соломенной крышей Витькину избу. Разглядел и неубранную грядку капусты, и сарай, и ворошок хвороста во дворе...

А еще успел разглядеть черное пятно перед палисадником, и я догадался, что это все еще стоит на улице Витька. Мне показалось, что мелькнуло его запрокинутое лицо - светлое пятнышко на темном фоне бушлата: должно быть, он глядел на самолет. И то, как от соседнего дома отделилось красное и двинулось навстречу Витьке...

Самолет забирал все выше, и стало видно далеко окрест: неоглядно простирались ухоженные поля - зеленые и черные, с пятнами скирдов на взметах, с жирными полосами дорог, разумно обходивших овражки и кочковатые низины, пестрая россыпь коров мелкой галькой виднелась на яркой озими... Сама же деревня, вытянувшаяся двумя долгими улицами по обе стороны Варакуши, под конец смешалась и разбрелась домами, и это был уже сам райцентр. Я отыскал базарный майдан с белой церквушкой, заезжий дом рядом с нею, где провел четыре

командировочные ночи, и розовый брусок школы по другую сторону площади в окружении серых безлистных садов. За школой широко белела вода местной Рицы в голых глинистых берегах. Своими очертаниями пруд походил на балалайку, основанием которой служила ровная грядка плотины, а грифом – втекавшая в него Варакуша. С высоты все это казалось ничтожно малым, игрушечным, каким-то воплощением суеты сует. И только сама земля с высоты становилась еще шире и беспредельней.

И опять в корзине забился и закричал гусь, и все повернули головы, обрадовались происшествию, снявшему тягостное напряжение полета, засмеялись, заговорили. Покраснев, деланно заулыбалась и Наливайка-младшая: ей было неловко, что она везла такую беспокойную ношу. На крик гуся высунулся из служебного отсека пилот, широколицый, густобровый, в лихой аэрофлотской фуражке с эмблемами.

– Это у кого такая веселая закуска? – спросил он, оглядывая пассажиров.

Все уставились на бабку.

– А ну, давай, старая, шуранем его за борт, – сказал летчик. – Эх и полетит!

– И ее заодно, чтоб знала место, – желчно буркнул гражданин с портфелем. – Совсем обнаглели...

Наливайка-младшая побагровела от смущения, маленькие глаза ее замигали, но бабка даже не повела бровью.

– Ничего, мать, – летчик блеснул белозубой улыбкой. – Давай действуй... Гусь – это штука!

Все рассмеялись, он подмигнул и захлопнул за собой дверь.

Под крылом пластались дымные космы тумана, и вскоре самолет нырнул точно в вату – во что-то белое и глухое...

Шопен, соната номер два[2]

После первых осенних дождей серый пыльный большак почернел, умягчился упруго и был до глянца накатан автомобильными колесами. Сахарозаводской грузовик бежал по нему ходко, почти не гремя бортами, будто по асфальту. В шоферскую кабину никто не стал подсаживаться, всем оркестром в двенадцать человек ехали в кузове на клубных откидных стульях. Здесь, на вольном ветерке, можно было курить, слушать, как Ромка, валторнист, травит свои бесконечные анекдоты, и перешучиваться со студентками, присланными убирать сахарную свеклу. Машина, сверкавшая никелем труб, привлекала девчат, что работали по всей Дороге, они отрывались от бурачных куч и с любопытством глядели из-под ладоней, выпачканных землей, на разнаряженных музыкантов.

– Эй, завлекалки! – задевали их ребята. – Сыграть вам па-де-де? Чтоб веселее работалось?

Ромка хватал с колен валторну и, пузырясь на ветру плащом-«болоньей», рвал студеной осенний воздух рублеными пронзительными звуками «Лебединого озера»: «Ла-та-та-та-а-тара-та-а-а...»

В ответ летели бураки, грохали по машине, парни, с хохотом пригибаясь, прятали головы за высокие планчатые борта, а Пашка, схватив тарелки, ловко, по-теннисному, со звоном отбивал ими свеклу.

- Полегче, полегче там! - кричал он с азартом, поправляя сбитую кепку. - Чего урожай расходуете!

- Взяли б да помогли! - кричали девчата. - Ишь, вырядились! Тунеядцы!

Машина пронеслась мимо, а по сторонам, зажигаясь шутиливой перебранкой, уже бежали к дороге, к грузовику, новые стайки девчат и дружно бомбили кузов бураками.

- Эх, соскочу! - хохотал Пашка. - Ой, поймаю курносую! - Под градом бураков он уже не отбивался, а лишь закрывал лицо тарелками, тогда как Ромка, высунув за борт один только раструб, продолжал неистово дудеть, подзадоривать студенток: «Ти-та-та-та-а-а...»

Шофер неожиданно тормознул, в решетке заднего окна показалось его злое лицо.

- Вы что, чокнутые? Стекла побьют!

Дядя Саша, старший в оркестре, от самого завода ехавший стоя, облокотясь о кабину, и тоже во время налета девчат вынужденный пригибать голову, обернулся и осадил парней:

- Хватит вам! Павел, ты как с инструментом обращаешься!

- А что им делается? - Пашка с недоумением повертел никелированными дисками. Дядя Саша нахмурился.

- Положи тарелки. Нашел игрушки! И вы тоже - угомонитесь.

- Все, старшой, все!

Ребята нехотя рассаживались по стульям. А дядя Саша ворчал:

- Разбаловались, понимаешь... Не на свадьбу едем. Понимать надо.

- Ну все, отбой. Мир - дружба!

Серенькая, в мелком крапе кепка старшого была надвинута до самых бровей. От встречного ветра фиолетово синели впалые щеки, чисто выбритые перед самым отъездом. Из кармана жесткого шевиотового плаща воронкой кверху торчала его сольная труба в черном сатиновом чехольчике. По давней привычке он всегда держал ее при себе.

Ромка снова принялся за свои байки, ребята обступили его, висли на плечах друг у друга, гоготали вовсю. А дядя Саша, расстегнув плащ, из-под которого сверкнула на пиджаке красная орденская звездочка, достал из бокового кармана сигарету и, раскурив ее в затишке, за кабиной, продолжал отрешенно глядеть на бегущую встречу дорогу.

Мимо с глухим ревом и чадными выхлопами прошел «КрАЗ». В кузове, наращенном грубыми, неоструганными досками, и в двух его прицепах дядя Саша успел разглядеть серые вороха еще не просохшей свеклы. Следом промчались два голубых близнеца-самосвала - тоже со свеклой, и у обоих на дверцах по белому знаку автотранса. Колхозы спешили, пока позволяла погода, управиться с самой докучливой культурой.

Великая Русская равнина в этих местах постепенно начинала холмиться, подпирать небо косогорами, отметки высот уже уходили, пожалуй, за двести метров и выше. В глубокой древности эту гряду холмов так и не смог одолеть ледник, надвинувшийся из Скандинавии. Он разделился на два языка и пополз дальше, на юг, обтекая гряду слева и справа.

И, может быть, не случайно на этих высотах, не одоленных ледником, без малого тридцать лет назад разгорелась небывалая битва, от которой, как думалось дяде Саше, спасенные народы могли бы начать новое летосчисление. Враг, грозивший России новым оледенением, был остановлен сначала в междуречье Днепра и Дона, а потом разбит и сброшен с водораздельных высот. В августе сорок третьего, будучи молодым лейтенантом, тогда еще просто Сашей, он заскочил на несколько дней домой и успел захватить следы этого побоища на южном фланге. К маленькой станции Прохоровке, куда был нацелен один из клещевых вражеских ударов, саперы свозили с окрестных полей изувеченные танки – свои и чужие. Мертво набычась, смердя перегоревшей соляжкой, зияя рваными пробоинами, стояли рядом «фердинанды», «тигры», «пантеры», наши самоходки и «тридцатьчетверки», союзные «Черчилли», «шерманы», громоздкие многобашенные «виктории». Они образовали гигантское кладбище из многих сотен машин. Среди него можно было и заблудиться. Дядя Саша курил на ветру, оглядывал высоты, ныне дремлющие под мирными нивами, а сзади него ребята шумно обсуждали какую-то поселковую новость.

- Зойка приехала? – слышался возбужденный Пашкин голос. – Заливаешь?

- Сам видел, – рассказывал Роман. – Юбка – во! До пятки. С каким-то флотским.

- Хахаль небось.

- Да похоже – муж. В универмаге ковер смотрели. Я подхожу: привет, Зоя. А она черными очками зырк-зырк: «Это вы, Рома? Я вас и не узнала. Богатым будете».

- Про меня не спросила? – с неловкостью хохотнул Пашка.

- Нужен ты ей больно!..

Тогда, в Прохоровке, дожидаясь попутной машины домой, на сахарный завод, дядя Саша долго ходил среди танковых завалов. Знойный августовский ветер подвывал в поникших пушечных стволах, органно и скорбно гудел в стальных раскаленных солнцем утробах. Но и мертвые, с пустыми глазницами триплексов танки, казалось, по-прежнему ненавидели друг друга. Дядя Саша разглядывал пробоины, старался распознать, кто и как обрел свой конец, пока не натолкнулся в одном месте на тошнотворно-сладкую вонь, исходившую от «тигра» с оторванной пушкой. Видно, наши саперы, перед тем как оттащить танк с поля боя, по небрежности не обнаружили внутри, проглядели труп немецкого танкиста. А может, в тот момент он еще и не был трупом...

- Спорим, уведу! – все кричал, горячился Пашка за спиной дяди Саши. – Нет, спорим?!

- Кого, Зойку? От этого морячка? Сядь, не рыпайся.

- Давай на бутылку коньяку. Жорик, будь свидетелем!

- Брось, дело дохлое, – успокаивал Ромка. – Морячок – что надо. Бумажник достал за ковер платить – одни красненькие.

- Плевал я на красненькие. Только пальцем поманю. Я ж с ней первый гулял.

- Ты первый? Ну, трепач!..

Теперь этого танкового кладбища нет. Оно распаханно и засеяно, а железный лом войны давно поглотили мартены. Заровняли и сгладили оспяные рытвины от мин и фугасов, и только по

холмам остались братские могилы.

Дядя Саша, иногда навеваясь в поля с ружьем, замечал, как трактористы стороной обводят плуги, оставляют нетронутыми рыжие плешины среди пашни. И как пастухи, выгоняя гурты на жнивье, не дают скотине топтать куртинки могильной травы. Лишь иногда просеменит меж хлебов к такому месту старушка из окрестной деревни, постоит склоненно в немом раздумье и, одолев скорбь, примется выпалывать с едва приметного взгорка жесткое чернобылье, оставляя травку поласковой, понежнее: белый вьюнок, ромашку, синие цветы цикория, а уходя - перекрестит эту траву иссохшей щепотью. Случалось, дядя Саша и сам нечаянно набредал на такой островок, где в жухлой осенней траве среди пашни охотно ютились перепелки, и подолгу задерживался перед ржавой каской, венчавшей могильное изголовье. Иногда сидел здесь, усталый, до самой вечерней зари, наедине со своими мыслями, смотрел, как печалью сочатся закаты над этими холмами, и казалось ему, будто зарытые в землю кости все прорастают то тут, то там белыми обелисками и будто сам он, лишь чудом не polegший тогда во рву, прорастает одним из них...

- Дядь Саш! - не сразу услышал старшой. - А дядь Саш!

Он обернулся и увидел граненый буфетный стакан, протянутый Севой-барабанщиком. Круглое лицо Севы с выступающей из-под берета ровной челочкой было деловито-озабоченно. От хода грузовика водка всплескивалась, помачивая половинку соленого огурца, которую он придерживал большим пальцем поверх стакана.

- С нами за компанию, - поддержал Иван, по прозвищу Бейный, высокий нескладный парень с белесым козым пушком на скулах, игравший в оркестре на бейном басы.

Дядя Саша чуть было не сорвался, чуть не крикнул на Севу: «Ах ты, паршивец! Ты же еще в девятый класс ходишь, еще молоко на губах не обсохло! Выгоню к чертовой матери из оркестра!» Но не выдержал его мальчишески ясного, доброго, терпеливого взгляда, смягчился и только сказал:

- Я не буду. Спасибо.

- Дядь Саш! Ну, дядь Саш! - наперебой загомонили ребята: и Ромка, и альтовик Сохин, и второй тенор Белибин.

Дядя Саша недовольно молчал.

- Ладно тебе, шеф! - с обидой сказал Пашка. - Холодно ведь. До костей продуло. - Он зябко потер ладони. - А ты не будешь, так и мы не будем.

- Нет, ребята, - твердо сказал дядя Саша. - Вы как хотите, а я не могу дышать водкой в мундштук. Мне Гимн сегодня играть, - и отвернулся.

- Так и нам играть! - почему-то обрадовались ребята. - Что ж теперь, выливать за борт?

- Да заткнитесь вы! - оборвал Ромка.

- Севка! - обиженно крикнул барабанщику Пашка. - Дай сюда стакан! Дай, говорю, - и, досадливо кривясь, целясь из стакана в горло бутылки, зажатой меж колен, обрызгивая брюки, стал переливать водку. - Ну и черт с вами! - ворчал он громко неизвестно на кого. - Все такие идейные стали. Еще попросите, а я не дам.

Въехали в знакомую Тихую Ворожбу. Наново отстроенное село больше не угрюмилось соломенными кровлями. Перед домами за весело раскрашенными штaketниками багряно кучерявилась вишенная молодежь. На еще зеленой уличной траве мальчишки, отметив кирпичами футбольные ворота, азартно гоняли красно-синий мяч с западающими боками. Увидев грузовик с оркестром, они всей ватагой помчались следом, свистя и горланя. И долго еще гналась вслед рыжая собачонка, с хриплым лаем подкатываясь под заднее колесо. Сева, перевесившись через борт, поддразнивал ее, замахиваясь барабанной колотушкой.

- Ну, честное слово, как маленькие, - досадливо обернулся дядя Саша.

Ему почти не верилось, что на этой тихой улочке, по ее мураве, некогда тянулись глинистые, гнойно-желтые рубцы окопных брустверов, звякали под ногами стреляные гильзы и сухой ветер рассеивал золу с горячих еще пепелищ.

Громыкнул под колесами расшатанный мостик, внизу холодно блеснула осенняя вода, усыпанная палым листом, и сразу же на той стороне, на взгорке, завиднелись избы, но уже другого села, Заполя, тоже восставшего из праха.

Свернув с большака, проехали еще какие-то деревни и раза два пересекли похожие друг на друга речушки. Они во множестве начинались здесь, среди этих водораздельных высот, и разбегались на все стороны света: одни - на запад, к Днепру, другие - к Дону, иные же, сливаясь с притоками, несли свою ключевую свежесть далекой Волге.

За последней деревней, за сырым кочковатым лугом, выпер очередной увал. Сквозь редкие ольхи чернел он осенней пахотой, был крут и наг, как все здешние высоты, на которых из-за ветров и безводья не принято было устраивать жилья, а лишь ставились в прежние времена ветряные мельницы, сгинувшие бесследно в огне последней войны. Мельниц там больше не возводили, а только под осень выметывали соломенные стога, у которых потом, уже по снегу, мышковали голодные лисы. Отсюда, снизу, казалось, что нахолодавшие облака сизым брюхом задевали неприятную хребтину, и там, на ветряном юру, вдруг стала видна на черной перепаханной земле большая пестрая толпа. Люди вдали безмолвно по-мурашиному копошились, перемешивались на одном и том же пятачке, и порой пронзительно вспыхивало под низким солнцем стекло стоявшей там автомашины. Глядя на этих людей, на их молчаливое топтание в пустынном поле, уже прибранном под зиму, на котором не могло быть никакой работы, никакой причины собираться гуртом, парни в кузове невольно присмирели, поняв, что это и есть то самое место, куда их вез старшой.

Молча въехали проселком на крутую гору, по свежим колеям свернули на тряскую пахоту. Чуть поодаль от толпы, за соломенной скирдой, стояли мотоциклы, грузовые машины, прямо на земле лежали велосипеды. У брошенной сеялки белела «Волга». Люди толклись на лоскуте нетронутой желтой стерни, вокруг покрытого брезентом невысокого конуса. Тут же, у подножия, валялись оставшиеся от кладки битые кирпичи, доски опалубки, заляпанные цементом. Школьники в ярких галстуках и белых одинаковых пилоточках старательно собирали весь этот мусор.

К машине с оркестром тотчас подошло несколько человек, и дядя Саша сразу узнал бывших фронтовиков из здешних деревень, с которыми не раз встречался в райбольнице, на втэковских комиссиях. Прямо через борт он обрадованно пожал руку Степану Холодову из Долгушей, Тихону Аляпину с железнодорожного разъезда, однополчанину Федору Бабкину, еще двум-трем незнакомым мужикам и деду Василию, который, не глядя на хромоту, шустро суетился вокруг грузовика.

- Давай, ребята, струмент сюда, - хлопотливо распоряжался дед Василий, ладонью отбивая крючья заднего борта. На нем была артиллерийская фуражка тех лет, еще свежая, незаношенная, должно быть, он берег и надевал ее только по торжественным случаям, а на груди совсем не по уставу, прямо на новенькой синей телогрейке, покачивались белые и желтые медали. - На травку струмент несите, на травку.

Он принял через борт самую большую, спящую никелем трубу и бережно понес ее перед собой, как горячий самовар. Тихон и однорукий Степан потащили за растяжки барабан. Вслед понесли, ближе к обелиску, все остальные дудки и трубы. Тут же, на стерне, уже были разложены рядом еловые венки с яркими бумажными цветами.

- На траве оно мягче, - уважительно приговаривал дед Василий. - Струмент все-таки. Вещь ценная...

По всему было видно, что, кроме оркестра, ждали еще кого-то. Под скирдой в затишке сидели женщины. Возле них гомонили дети, затеяли беготню в салочки вокруг соломы. Тут и там прохаживались принаряженные парни с девушками. Пашка, а за ним и остальные заводские, словно бы невзначай, подошли к местным. После церемонных рукопожатий парни сразу закурили, и вот уже Роман под одобрительные смешки принялся травить свои байки.

Несколько мужчин, должно быть председатели колхозов, все в коротких плащах и шляпах, обособленно держались возле светлой «Волги». На загорелых шеях белели негнущиеся воротнички нейлоновых сорочек. Они тоже покуривали без нужды и были несколько скованы непривычной торжественностью своей одежды и ожиданием предстоящего.

Фронтвики постояли возле сложенных труб, разглядывая хитросплетения блестящих колен и клапанов, потом, как всегда при встречах, принялись вспоминать, кто и где воевал, куда дошел, где застала победа.

- У тебя, Федор, помнится, вроде бы «Слава» была? - спросил дядя Саша.

Федор махнул рукой сокрушенно:

- Да не нашел. Кинулся в сундук - вот эти лежат, а «Славы» нету. Небось, внук, демоненок, баловался и задевал куда-то. Приставал, помню: дай поносить, дай поносить. Ну, на, говорю, померяй, побудь в героях. А он, вишь, и забельшил невесть куда.

- А то, глядишь, променял дружкам на какую свистульку. - Дед Василий смеялся беззубым ртом. - Понятия никакого нету, чем за это плачено.

- Дак они, медали-то, вроде как уж и без надобности были, - сказал незнакомый дяде Саше мужик в литых резиновых сапогах. - Победу и ту одна забыли спраздновать. Самый для орденов подходящий день. Многие поотвыкли, вроде и совестно вырядаться. Это вот теперь опять надевать начали.

Старые солдаты, смущаясь, исподволь разглядывали друг на друге боевые награды - у кого сколько и какие.

- Медали пришилить - куда ни шло, - сказал Степан Холодов, взглянув на новую телогрейку деда Василия. - От них на одежде никаких следов не остается. А ежели, к примеру, Красную Звезду, дак эвон какая дырка! К маю купил новый костюм, и сразу задача: надевать орден ай нет? И надеть охота, и костюм дырывать жалко.

- Оно ежели б как раньше: навинтил да и носи без съему, - поддакнул фронтовик в резиновых сапогах.

- Ну да, ну да, - кивнул Холодов. - Не станешь же потом всякому пояснять, что дырка-то не простая, а почетная.

Солдаты посмеялись незатейливой шутке, и Холодов спросил:

- Ты, Федор, за свою «Славу» сколько получал?

- Уж и не помню... Рублей тридцать, кажись. Еще старыми.

- Выходит, трешку по-нонешнему?

- Дак нынче и вовсе ничего, - заметил Тихон Аляпин.

- Знаю, что ничего. Это я так, прикинуть. А вообще-то надо бы опять платить наградные. Раз уж ордена начали носить.

- Всем платить - ого сколь надо!

- Да уж сколь? Всего-то рублишко за «Отвагу».

- Тебе рубль да другому рубль - мильон и набежит. Одной «Отваги» и то знаешь сколько?

- Ну, не скажи. Теперь не больно-то густо осталось, - возразил Холодов. - Много ее, «Отваги»-то, на красных подушечках отнесли. Одних маршалов сколь проводили. По газетам гляжу: то один, то другой в черной рамке. А уж нашего брата и подавно большой укос. Да вот считай: тогдашним новобранцам и то уже под пятьдесят...

- Так-то оно так. Костлявая чинов не разбирает...

- Выходит, казне полегче теперь стало. Можно бы какую мзду и начислить солдату, который еще уцелел.

- Ну и крохобор ты, Степк! - сплюнул Федор. - Дай награду тебе да еще мзду в карман. Да нешто мы наемники, что ли? Не чужое обороняли, свое, кровное. К тебе, допустим, в хату воры полезли, а ты их взял да и поколотил. А потом матери своей говоришь: «Я воров прогнал, проявил геройство, давай, мать, за это трояк!» Ведь не станешь у своей же матери требовать? Не станешь! Так и это надо понимать.

- Ну, уел, уел он тебя, Степка! - засмеялись фронтовики. - Ничего не скажешь!

- Да я про что? - тоже рассмеялся Холодов. - Мне разве деньги нужны, чудак человек. Трешка - какая пожива? А когда прежде их платили, вроде бы пустяк, табашные деньги, а - приятно! Вот я про что. Идешь, книжечку предъявляешь - тебе очередь уступают, глядят с уважением.

- Тебе и сейчас уступают, вон рукав пустой.

- Да не дюже-то раздвигаются.

- Э-э, мужички! - воскликнул дед Василий. - Какой разговор завели! Скажи спасибо, живы остались. Сам бы от себя платил!

К фронтовикам подошел председатель здешнего колхоза Иван Кузьмич Селиванов. Грузный, страдающий одышкой, он был тоже увешан орденами, тесно лепившимися вдоль обоих пиджачных бортов. И даже покачивался на голубой ленте какой-то инородственный «лев», который за неимением места расположился почти на самом животе. Казалось, Селиванов потому так тяжело дышал и отдувался, что непривычно нагрузил себя сразу такой уймой регалий.

- Привет, гвардия! - сипло пробасил он, расплываясь в улыбке своим добрым простоватым лицом, и сам тоже, как и все прежде, вскользь, ревниво пробежал живыми серенькими глазами по наградам собравшихся.

Дед Василий плутовато сощурился:

- Упрел, однако, Кузьмич! шутка ли, такой иконостас притащил. Никаких грудей не хватит - наедай не наедай.

В другом месте так лихо и не посмел бы созоровать дедко, но тут, в кругу бывалых окопников, действовал свой закон братства, отстранявший всякие чины, и прежний ездовой безо всякого подкузьмил прежнего командира полка, а ныне - своего председателя. Да и все знали: Кузьмич - мужик свой, не чиновный, с ним можно. Если к месту, конечно.

Иван Кузьмич тоже не остался в долгу перед дедом Василием:

- Свои-то ты, поди, гущей начистил? Сверкают - с того конца поля видать.

- Не-е, Кузьмич, не угадал! - зареготал дед Василий. - Это не я. Это мне баба надраила.

Фронтовики засмеялись.

- Ей-бо, не брешу. Я хотел было так иттить, а она: нехорошо, говорит, с такими нечищеными на народ.

- Ай да молодец баба! - весело похвалил Иван Кузьмич. - Вот кому ордена носить - женщинам нашим!

- Это точно! Ежели по совести, то в самый раз пополам поделить. Одну половину нам, а другую им. Нам за то, что воевали, а им за то, что тыловали. А то ничуть не слаще войны.

- Значит, это старуха тебе так наблистила?

- Она, она! Да и как не наблистить? - развел руками дед Василий. - Ну, которые там медные, ладно. А то ить из серебра, а вот, скажи ж ты, тоже портятся, тускнеют. Я их и в сухое место прятал, на комель, - все едино гаснут. Нету того блеску, как было.

- Время, отец, время работает, - сказал Иван Кузьмич.

- Что там медали! Мы и сами, гляди, как потускнели, поистратились, - заметил Федор. - У всех вон седина из-под шапок.

- А у меня дак и вовсе волос упал. - Дед Василий сдернул фуражку и засмеялся: - Во, как коленка! А в Будапешт таким молодцом вступал.

- Ну, ты, Василий Михайлович, и теперь еще герой. - Иван Кузьмич потрепал старика по плечу.

- А я и не ропщу! - готовно кивнул дед Василий. - Кукарекаю помаленьку. А то вон которых и совсем уже нет.

- Ох, и верно, мужики, бежит время! - Тихон Аляпин досадливо пересунул на седой голове путевскую фуражку с молотками. - Соберемся когда вот так, солдаты, глядь - того нет, этот не пришел... Совсем мало нас остается...

- А что ж ты хотел, - сказал Федор. - Ты думал, уцелел, дак война тебя минула. Не-е! Сидит она у всех у нас. Грызет, подтачивает. Кого раны доканывают, кого простудные болезни, а кто животом мается. Даром не прошли эти четыре года...

Дядя Саша достал дюралевый портсигар и протянул его в круг на ладони. Все молча потянулись за сигаретами.

Наконец подкатил райисполкомовский «газик», остановился возле белой «Волги». Придерживая шляпу, из машины вышел сам Засекин. Он тоже был в свежей сорочке с галстуком, но в яловых сапогах, изрядно забрызганных грязью. Видно, по пути заезжал куда-то еще, а потому немного припозднился. Вслед за ним выбрался райвоенком, пожилой сухощавый капитан с плащ-палаткой, притороченной на ремешках. Третьим был инструктор ДОСААФ Бадейко. Засекин торопливо пожал руки стоявшим у белой «Волги» и, озабоченно взглянув на часы, сразу же направился к обелиску, собирая за собой, будто невидимым бреднем, быстро густеющую толпу. Молодцеватый инструктор в ухоженных троекуровских баках, с фотоаппаратом через плечо, забегая вперед, громко оповещал:

- Товарищи, товарищи! Давайте подходите ближе! Давайте, давайте! Женщины у скирды, вас тоже касается!

Пока вокруг обелиска собирались люди, теснясь плотным кольцом, дядя Саша подошел к ребятам, уже разобравшим инструменты. Он и сам вынул из кармана свою маленькую трубочку, похожую на пионерский рожок, снял с нее чехол и по привычке несильно, беззвучно подул в мундштук и попробовал клапаны. Музыканты, поглядывая на небо, переминались, пританцовывали в своих легких модных плащах. И действительно, было холодновато. Откуда-то набегали низкие серые тучи. Они накрыли солнце, и стало ветрено, неуютно на открытом и голом угоре.

- Значит, так... - Дядя Саша оглядел строй оркестрантов. - Как только снимут брезент - сразу Гимн. Прошу никуда не отлучаться.

- Да не волнуйся, шеф. - Пашка разглядывал себя в сверкающую тарелку, как в зеркало. - Слабаем, что надо.

- Вы мне бросьте это «слабаем»! - Дядя Саша нахмурился. - Ты, Павел, тарелками не очень-то звякай. Только тебя и слышишь.

- А что? Я все по уму. И в нотах указано: форте.

- «Форте, форте»... Слушать надо. Чувствовать надо мелодию. И весь оркестр. А ты лупишь, как сторож в рельсу.

Пашка обиделся:

- Зря придираешься, старшой.

Тем временем народ вокруг ожидающе притих, и военком, выйдя к подножию памятника, открыл митинг. В районном военкомате он служил уже давно, и знали его многие, особенно фронтовики. С разрубленной осколком нижней челюстью, которая срослась не совсем ладно, искривив ему рот, он выглядел угрюмовато, но был тихим, непритязательным человеком. Еще в самом начале войны, во время эвакуации Шепетовского укрепрайона, он потерял семью – жену и двух девочек – и с тех пор жил бобылем со старенькой матерью, и на его окнах всегда можно было видеть клетки с чижами и серенькими чечетками.

- Друзья мои! – заговорил он, наклонив голову и по привычке поглаживая, засты уродливый шрам ладонью. – Матери и отцы... братья и сестры... дети и внуки! Мы все собрались тут, чтобы почтить память... кто отдал свои жизни...

Быть может, под гулками сводами зала голос оратора, усиленный микрофонами, и звучал бы как подобает. Но здесь, среди пустынного поля, под необозримым осенним небом, слова показались далекими и бессильными. Толпа задвигалась, еще больше уплотняясь, и детишки, прошмыгивая меж ногами у взрослых, начали пробираться в передние ряды, где слышнее. А Пашка все гудел обиженно:

- Вечно на меня бочку катит. Вон Курочкин ноты прочитать до дела не может, так ему ничего...

- Помолчи, пожалуйста! – досадливо обернулся дядя Саша, пытаясь сосредоточиться, уловить речь военкома.

Налетавший ветер принимался трепать угол брезента на обелиске, порой заглушая речь хлопками, и тогда лишь обрывки фраз долетали до дяди Саши:

- ...дожди смыли кровь павших с этих высот, вы собственными руками заровняли воронки и окопы, засеяли поля хлебом, и мирное солнце светит теперь над вами... Но ничем нельзя смыть нашу скорбь, заровнять наши душевные раны, притупить нашу память...

Военком, забывшись, убрал руку от подбородка, взмахнул ею, рассекая воздух, и стало видно, как нервно напряглась какая-то жила под его щекой, как потянула она всю правую сторону лица книзу.

- Вот возьму и уйду! – Пашка в самом деле отошел в сторону.

- Павел, – прошептал дядя Саша гневно, – встань в строй.

Пашка молчал, упрямо глядя на свои новые штиблеты. Кто-то обернулся в их сторону.

- Встань, говорю! – так же шепотом повторил старшой.

Парень, кисло глядя в поле, нехотя подчинился. И тут, перебивая военкома, раздался возмущенный голос инструктора Бадейко:

- В задних рядах! Прекратите базар, честное слово. Людей надо уважать, в конце-то концов.

Военком вскоре закончил свое выступление и отошел в сторону. Бадейко, пошептавшись с Засекиным, принялся разматывать веревку, витками охватывающую покрывало. Освободившийся брезент еще громче заколотился, потом взметнулся пузырем. Бадейко держал его неловко, беспомощно. Несколько человек подбежало помочь. И когда брезент был усмирен и стащен, перед всеми предстал серый цементный конус, местами еще не просохший,

со столбцом фамилий на металлической желтой табличке:

Агапов Д. М., рядовой

Аникин С. К., рядовой

Борвенков В. В., мл. сержант

Вяткин К. Д., рядовой

Гаркуша И. С., рядовой

Захорьян А. Ш., сержант

Иванов И. П., сержант

Махов А. Я., старшина

Это были имена людей, никому здесь не известных и уже давно не существующих, заглянувших в сегодняшний мир спустя много лет в виде знаков алфавита.

Мокряков Т. С., рядовой

Мурзабеков Б., рядовой

Нечитайло Х. И., рядовой

Ноготков С. С., мл. лейтенант

Нуриев А., рядовой

Обрезков П. С., рядовой

Парфенов А. М., мл. сержант

Дядя Саша подумал, что в этом списке его место было бы сразу за Парфеновым, потому что фамилия его тоже на «П» – Полосухин. Лежал бы он, конечно, не рядом с этим самым Парфеновым А. М., а может, сверху него, может, под ним. Это уж как положат. Там ведь клали не по алфавиту...

Ему уже махали рукой, делая знаки, чтоб оркестр начинал, и дядя Саша, спохватившись, поспешно положил пальцы на клапаны трубы.

- ...Итоги подводить нам еще рано, - продолжал Осинкин, - но то, что мы сделали, это уже весомо. Это, товарищи, ни много ни мало, а тридцать шесть тысяч центнеров сырья для нашей сахарной промышленности, или, если учесть, что из одного центнера бурака можно получить пуд сахара, то - миллион двести пачек рафинада, можно сказать, уже положили на прилавки наших магазинов. А чтобы вам это представить более зримо, то получится по пачке сахара на каждого жителя таких городов-гигантов, как Харьков или Новосибирск.

Романов Ф. С, мл. сержант, -

про себя читал дядя Саша.

Салям М., рядовой

Санько А. Д., рядовой

- ...Вот сейчас закончим свои дела в поле, - воодушевленно говорил Осинкин, - подчистим там кое-что и вернемся доделывать новый клуб. Денег мы на это не пожалеем: надо миллион - отпустим миллион, надо полтора - дадим полтора. А как же? Хорошо поработали - будем культурно отдыхать, верно, девчата? А отдыхать у нас тоже умеют. Вот был наш ансамбль на ВДНХ, - пожалуйста, еще один диплом привезли.

Говоря, Осинкин время от времени косил карие глаза в сторону Засекина, как привык на активах и совещаниях бросать взгляды в президиум.

Сыромятников В. С., рядовой

Тихомиров П. К., рядовой

Тугаринов М. З., рядовой

Вчитываясь в эти фамилии, дядя Саша как-то и не заметил, когда Осинкина сменила пионервожатая. Придерживая концы отутюженного галстука, которые ветер то и дело забрасывал ей на плечо, она начала звонко и четко рапортовать об успехах школьных следопытов. Старшой слушал эту чистенькую расторопную девочку, а перед ним встала вдруг в памяти картина, виденная все там же, под Быховом.

...Зимой они сменили пехотную часть на плацдарме по ту сторону Днепра. Поредевшую, измотанную шквальным огнем, ее незаметно отвели обратно за реку. И дядя Саша, командовавший тогда ротой, увидел в бинокль перед занятыми позициями убитого бойца. Он ничком висел на немецкой колючей проволоке, сникнув посиневшей стриженной головой. Из рукавов шинели торчали почти до локтей голые, иссохшие руки. Казалось, этими вытянутыми руками он просил землю принять его, неприятного, скрыть от пуль и осколков, которые все продолжали вонзаться и кромсать его тело. Но проволока, видно, крепко вцепилась в солдата и не пускала к земле. За зиму на нем вырос горб снега, нелепый, уродливый. Это был, по всему, наш сапер или, может, разведчик. Он, лейтенант Саша Полосухин, дважды посылал по ночам своих людей снять убитого. Но труп был пристрелян немцами, и только зря потеряли еще двух человек. Больше за убитым он уже не посылал. Так солдат провисел до самой весны, и всем было больно и совестно смотреть в ту сторону. А в апреле труп оттаял, позвоночник не выдержал, переломился, и - убитый обвис на проволоке, сложившись вдвое... Только в июне была прорвана оборона врага. Он, Полосухин, провел роту через проделанные проходы в проволочном заграждении и вдруг с содроганием увидел, что у висевшей шинели ворот был пуст и ветер раскачивал пустые рукава...

Узляков С. Н., рядовой

Умеренков К. Г., рядовой

Федунец М. С., старшина

Кто же был тот, на проволоке? У него ведь тоже были фамилия, имя, отчество...

И дядя Саша подумал: как по-разному может сложиться судьба солдата. Даже если он пал смертью храбрых. Это благо, если его вовремя подобрали с поля боя, если опознали при этом и если ротный, составляя списки потерь, второпях не перепутал, не пропустил его фамилии. Это

благо, если донесение попало в вышестоящий штаб и если тот штаб не окружили потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе с писарскими сундуками и сейфами. Если... Да мало ли этих «если» на пути солдатского имени к такой вот табличке на братском обелиске! А еще на этом пути и болота, и черные топи, реки и речки, заливы и проливы, обрушенные блиндажи, обвалы домов, сгоревшие танки и эшелоны и многое что другое... А еще – прямое попадание, когда на том месте, где солдат только что бежал с автоматом, через мгновение уже черно и смрадно дымится воронка и комя выброшенной земли, падая, мешаются с кусками одежды, даже не успевшей окровениться...

Фомичев В. А., младший сержант

Ходов С. М., сержант

Цуканов А. Ф., мл. сержант

В это время пионервожатая выкрикнула:

- Никто не забыт, ничто не забыто!

Она произнесла последнюю фразу особенно звонко и, довольная, что нигде ни разу не запнулась, пылая счастливым лицом, на носочках перебежала от обелиска к стоявшим в строю ребятишкам.

Выступило и еще несколько человек: заведующая здешним клубом – женщина уже в годах, но еще проворная, в искусственной дошке под леопарда и крепко отдающая духами; недавно демобилизованный паренек, надевший по этому случаю свой совсем еще новенький мундир с яркой нашивкой на рукаве и, по недавней армейской привычке вытянув руки по швам, отчеканивший о преемственности боевых традиций; после него в круг вышел, опираясь на самодельный костылик, согбенный учитель истории из ближней деревни. Начал он с Александра Невского, с Ледового побоища, перешел к Куликову полю и тут хотел к случаю продекламировать стихи и уже прочел было первые три строчки:

Воткнув копьё, он бросил шлем и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жег... —

но неожиданно запнулся и умолк. Старичок мучительно потирал пальцами восковой висок, напрягал память, твердя последние слова: «...а спину полдень жег...», «...а спину полдень жег...», однако, так и не вспомнив продолжения, сокрушенно махнул рукой и, растерянно улыбаясь, бормоча: «Извините, извините», отступил в толпу.

Вышла и еще женщина, видно, из колхозниц – в зимней суконной шали, с заветренным лицом. За ней побежал было мальчик лет шести, но на него зацыкали, потянулось сразу несколько рук: «Нельзя туда! Ты что ж это?» Однако мальчонка увернулся, прошмыгнул-таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо набычась.

- Ничего, пусть постоит, – сдержанно улыбнулся Засекин. – Ишь ты какой герой!

А женщина, не замечая парнишку и еще не произнеся ни слова, сразу побледнела лицом, как только оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула высоким запальчивым голосом:

- Я вам так скажу, товарищи: моих polegло двое. А я хоть и живая, и тоже поранетая на всю жисть...

И вдруг закрылась руками, грубыми, негнушимися пальцами, какие бывают от бурака и стылой осенней земли.

Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим народом, она наконец отняла руки, ожесточенно оглядела толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела выразить свою старую боль, и, не сумев найти таких слов, вдруг подхватила мальчика, подняла под мышки и, повернув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче:

- Смотри, Витька! И запомни! Вот она какая, война.

Мальчонка, ничего не понимая, замерев, испуганно глядел на граненое острие обелиска.

От имени фронтовиков взялся сказать несколько слов Иван Кузьмич Селиванов.

- Ну что тут можно добавить? - трудно, задышливо начал он, вздымая грудью всю тяжесть своих орденов. - Ну вот поставлен еще один памятник товарищам по оружию. Это хорошо, это нужно. Теперь будем все сообща беречь его, следить, чтобы время не стерло их имена. Ну конечно, памятник не ахти какой видный. Делали его наши местные мастера. Слов нет, Осинкин мог бы пригласить и поименитей специалистов, поставить и повыше, и поосновательней, скажем, из мрамора или из гранита: денег у него на это хватило бы - в миллионерах ходит...

Стоявший неподалеку Осинкин нетерпеливо переступил, похрумкил скрипучими штиблетами.

- ...Он ведь как рассудил? Могила, мол, не в людном месте, в стороне от туристских дорог, паломничества не будет, можно и поскромнее.

- Брось, брось, Кузьмич! - не сдержался Осинкин. - Памятник типовой, не хуже, чем у других. Мы в Тарасовке смотрели: там тоже такой, наш даже повыше.

- Дело, в конце концов, не в мраморе и высоте памятника, - продолжал Селиванов, - а в нашей памяти. В нашем понимании того, какой ценой заплачено за победу над самым лютым из врагов, когда-либо нападавших на русскую землю. - Селиванов перевел дыхание. - Мой полк прошел от Воронежа до Белграда. Были моменты, когда в полку оставалось только триста с небольшим человек, и то вместе с ранеными. А когда мы в конце войны вместе с начальником штаба подсчитали, сколько прошло через наш полк людей, то сами себе не поверили. Двадцать две тысячи! Двадцать две! Вы спросите, куда они девались? А вот они! - Иван Кузьмич указал на обелиск. - Тут! Правда, многие остались позади полка по госпиталям и лазаретам. Но многие вот так - в чистом поле. Полк шел на запад, а за нами - от села к селу, от города к городу цепочкой тянулись могилы - путь к нашей победе. За это время я сам вот этими руками подписал и отправил многие тысячи похоронных извещений. И где-то, во всех уголках нашей земли, получали их и неслышно для нас захлебывались горем тысячи овдовевших женщин и осиротевших детей... Полк мой не проходил по этим местам, но здесь шел чей-то другой полк, другая дивизия. И путь ее был такой же!

В толпе кто-то всхлипнул, а Иван Кузьмич, постояв в раздумье, снова поднял голову:

- Заканчиваю, товарищи... Я не стану вас призывать достойно трудиться на этой земле. Вы об этом и сами знаете. Я только хочу, чтобы вы, мужчины и женщины, бывшие солдаты и солдатские жены, участники и очевидцы, пока еще живы, пока это не стало достоянием исторических книг и архивариусов, передали бы своим детям и внукам священную память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу. Вот это я хотел сказать.

Ему дружно похлопали.

Больше желающих выступить не оказалось, хотя бывшие фронтовики и подбадривали друг друга: дед Василий – Федора Бабкина, а тот подталкивал в спину Тихона Аляпина, который застенчиво упирался и посылал Федора:

- Какой из меня говорильщик. Ты пограмотней мово. Да и что говорить? Вон Кузьмич все сказал.

Так они препирались тихонько, а слово тем временем было предоставлено самому Засекину.

Засекин вышел в круг и взглянул на часы...

Сегодня дядя Саша слышал в завкоме, что на завод должны были прибыть чешские специалисты. Ожидали их к вечеру, но уже с утра девчата драили столовую, и было слышно, как в заводской гостинице гудели пылесосы. Летом, во время подготовительного ремонта, чехи устанавливали в цеху свои новые диффузионные аппараты повышенной мощности и теперь, когда завод начал сезон, должны были приехать снова, чтобы проверить оборудование под полной нагрузкой. Засекину надо было их встречать, однако митинг затягивался, к тому же его открыли позже, чем намечалось, и предрик, похоже, беспокоился.

Но насчет чехов дядя Саша только предполагал, а возможно, у Засекина могли быть и другие неотложные дела: все же на его плечах целый район, да еще в такую напряженную пору, когда то здесь, то там ломался график уборки сахарной свеклы.

Говорил он, однако, без заметной торопливости, обстоятельно и толково, обрисовал международное положение, рассказал о достижениях района и его текущих задачах, назвал передовиков. Слушали и смотрели на него с особенным интересом, потому что многие видели Засекина вот так близко впервые.

Но тут, в самый разгар его выступления, вышла непредвиденная заминка. Подвыпивший мужичишка, растрепанный ветром, в расстегнутой до пупа рубахе, убегая позади толпы от кого-то, запнулся о лежащую на стерне басовую трубу и, загремев наземь, плаксиво зашумел, забуянил:

- Ты домой меня не гони! Нечево меня гнать. Я тоже воевал. Я, может, тверёзей тебя!..

Засекин прервал речь, на мужика зашикали. Ребята-оркестранты подхватили его под руки и без церемоний, волоком, потащили по пахоте к грузовику. А тот, загребая ногами землю, все вскрикивал визгливо:

- По какому такову праву? Я тоже воевал!

- Но, но! Раскудахтался! - весело покрикивал на мужика Пашка, пользуясь случаем поразмяться, заняться каким ни есть действием. - Будешь выёгиваться - мухой на пятнадцать суток постригу. Жора, давай ножницы!

- А чево она, зануда... Указчица! Нынче наш день. Хочу - гуляю!

Женщина в упавшем на плечи платке понуро шла следом к грузовику, подобрвав на пахоте оброненный башмак.

Засекин молчал, сдержанно покашливал - пережидал.

- Это твой артист? - спросил он наконец Осинкина.

- Да тут один... В примаках живет.

- Зачем привезли такого?

- Да ведь кто ж знал? Пока везли, вроде ничего был, незаметно. Это он уж тут, наверно, с кем-нибудь... Приеду - мы с ним разберемся. Вот шельмец!

- Нехорошо получается, товарищ Осинкин.

Парни дружно подняли и кулем перевалили шумливого мужика через борт в кузов, и женщина зашвырнула туда ботинок. Происшествие оживило публику, толпа задвигалась, загудела, мужики стали закуривать. А из кузова неслось разудало:

И все отдал бы за ласки взора-а,
Лишь ты владела б мной одна-а...

- Перебрал Никитич, перебрал! - снисходительно журили в толпе мужика. - Вот ведь и печник хороший, а - с изъяном.

Засекин после этого говорил недолго, и вскоре митинг объявили закрытым. Оркестр снова проиграл Гимн. Но и когда смолкли трубы, толпа все еще стояла вокруг обелиска, и мужчины не надевали шапок.

- Все, товарищи! Все! - вскинул руки Бадейко. - Спасибо за внимание!

Люди, словно не понимая, что все уже кончилось, расходились нехотя, озираясь, оглядываясь, будто ожидали чего-то еще.

Засекин, бегло попрощавшись и уже на ходу напомним: «Так завтра сессия, товарищи! И - никаких опозданий!» - направился со своими спутниками к урчавшему мотором «газику» и сразу же уехал. Вскоре разошлись по машинам и председатели.

- Василий Михайлович! - окликнул из своей «Волги» Селиванов. - Садись, подброшу.

- Да вот не знаю... - растерялся дед Василий. - Тут робяты, маракуют того... Я, поди, еще побуду маленько... дак и ты, Кузьмич, давай к нашему салашу.

- Спасибо, братцы! Мне этого теперь - ни-ни!.. - Иван Кузьмич положил руку на ордена. - Барахлит что-то...

- Ну, ежели так, то конечно...

Иван Кузьмич, насажав полную машину попутной малышни, тоже уехал, и было видно, как скосбочилась на одну сторону перегруженная старенькая машинка.

Поле постепенно пустело. Умчалась машина с веселыми пионерами. Вниз по склону покатали мотоциклы, велосипеды. Неспешно побрели и пешие, кому идти было недалеко, до ближайших деревень, что отсюда, с косогора, виднелись как на ладони.

- «Все отдал бы за ласки взорра-а...» - продолжал выкрикивать мужичонка, высовываясь из-за борта и опять оседая на дно кузова. - «И ты б... и ты б...»

Подошел Федор Бабкин, взял дядю Сашу под локоть:

- О чем, солдат, задумался? Пойдем, посидишь с нами.

Под скирдой уже пристроились Степан Холодов, Тихон Аляпин, дед Василий и еще несколько человек.

- Во, еще один орелик! - оживился дед Василий. - Садись-присаживайся. Какую-никакую, а поминку справим. По старому по нашему обычаю.

Фронтовики охотно раздвинулись, высвобождая дяде Саше место в кружку на соломе. Откуда-то объявилась стопка, налитая до полна, в дяди Сашину руку вложили помидор.

- Давай, товарищ лейтенант, - кивнул дед Василий. - А то говорить поговорили, а добрые слова не скрепили. Они и отлетят дымом, слова те.

Старшой на этот раз не отказывался и, подняв стопку, взглянул на обелиск.

- Ну, простите, братья! Пусть будет вам пухом...

- Вечная память... Вечная память, - нестройно и торопливо заговорили и остальные, опять снимая шапки. - Вечная вам память.

Дядя Саша выпил в молчаливом окружении старых солдат, опустивших седые скорбные головы.

Неожиданно появился Пашка, хотел что-то спросить, но, увидев склоненных людей, в нерешительности замялся.

- Тебе чего, Павел? - поднял глаза дядя Саша.

- Да... хотел узнать... Играть больше не будем?

- Нет.

- Тогда нам тоже можно порубать?

- Садись, пожалуйста, - подвинулся Федор.

- Да нет, спасибо. У нас своя компания. - Он постоял, разглядывая мужиков, потом с обидой сказал: - С нами так не стал, старшой.

- Иди, Павел, - попросил дядя Саша. - Я сейчас приду.

- Да чего уж, сиди, - сказал Пашка. - Я ведь только спросить, будем играть или пошабашили.

Что-то насвистывая, Пашка ушел к ребятам, где на поваленном плашмя барабане стояла бутылка и Жора, шурша бумагой, раскладывал закуски.

Федор Бабкин, поглядывая на женщин, уже рассеявшихся по грузовым машинам, украдкой наливал, закрываясь полой, и обносил рюмку по кругу.

- Давай, Степ, бери... Тихон, твой черед...

Фронтвики торопливо выпивали, тыкали дольками помидоров в спичечный коробок, в мокрую розоватую кашу соли и, не дожидаясь еще, лезли в карманы за куревом. А с машин нетерпеливо окликали:

- Эй, мужики! Вы чего там колдуете! Поехали!

- Да сейчас! - отмахнулся Федор. - Сейчас едем.

- Ждать не будем! - кричали с машин.

- Ох, эти бабы! - подсадовал дед Василий, вставая. - Никакого понятия. В кои-то разы собираемся так вот. Может, и не свидимся больше.

Фронтвики нехотя начали подниматься.

- Так пусть себе едут, - сказал дядя Саша. - У меня тут своя бортовая. Тебе, Сорокин, куда?

- Да мы вот с ним, с Хмызовым, из Березовки. А Федору вот с Тихоном в Махотино надо. Дальше, за нами.

- Ну, не волнуйтесь, всех отвезем.

Обрадованный Федор побежал сказать, чтоб их не дожидались. Машины начали разъезжаться.

Вернувшись, Федор выкопал из-под скирды еще одну бутылку, принялся одевать по новому заходу. То обстоятельство, что теперь не надо было никуда спешить, располагало к воспоминаниям, и Степан Холодов оживленно хлопнул себя по колену:

- А вот, братцы, был у нас один случай!..

- Ну, ну, давай.

- Брали мы под Орлом одну высоту. И высотка-то не больно какая, а не подступишься: все открыто, ни кусточка, ни задоринки, а понизу - топь. Ну, раз сунулись - не вышло, в другой - никаких делов. Строчит и строчит из дота. Пробовали бить по нему из минометов - дым, пыль, ну, думаем, все, накрыли! Сунемся, а он опять: тра-та-та-та... Живой, гад! Оно б пальнуть из артиллерии, может, что и получилось, да не было при нас никакой артиллерии. Одни ротные минометы. Ну, а у тех силенок оказалось маловато: фук-фук, а немец цел. И потери у нас уже немалые. Командир батальона по телефону нашего ротного материт, чтоб к такому-то часу высота была захвачена, да и только!

- Ну так вы б ее ночью-то, по-темному...

- Погоди ты, ночью... До ночи вон сколь было ждать. Да... Сидит наш ротный в траншее, курит, на сапоги плюет - злой-презлой. Мы тоже помалкиваем, отпыхиваемся после атаки. А что скажешь? Видит око, да зуб неймет. Вот тебе подсаживается к нему один солдатик, пацан пацаном. «Товарищ командир, говорит, отпустите вон в ту брошенную деревню. Если я найду, что мне нужно, - даю слово, после обеда скovyрнем немца»...

- А что ж ему такое нужно-то было?

- Не перебивай. Сказать, так неинтересно будет. Слушай... Ну, отпустили его, пополз парень. Глядь - вертается, волокет что-то в мешке. Полдеревни, говорит, обшарил, а нашел. Только теперь надо обождать, когда солнце к немцу за спину зайдет...

- А-а! - засмеялся Федор. - Разгадал - зеркало.

- Ну, разгадал - нечего теперь и рассказывать...

- Давай, давай!..

- Изготовились мы к новой атаке, ждем. Только солнце начало к немцу воротить, парень и достал из мешка свою хитрость. А стекло во какое, с газету! Давай наводи, говорит ему командир. Ну и уцелил он что ни есть в самую амбразуру. Немцу, конечно, это не понравилось, а что он может сделать? Кинулись мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не та, а куда попало. А парень ему зеркалом-то все в рожу, в рожу! Ну конечно, там, кроме пулеметчика, и еще были, да мы их тут быстро разделали. Так потом и возили с собой зеркало, пуще глаза берегли. Как секретное оружие.

- Дак это ж на Одере так вот прожекторами ослепляли.

- Э-э, браток, на Одере когда было? А то еще под Орлом. Оно, может, потом про наш случай и до генералов дошло, до самой Ставки. Ну дак, ясное дело, у генералов вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская.

- А то вот раз было... - начал фронтовик в резиновых сапогах.

И пошло, и пошло... Заговорили мужики, покраснелись лицами, заблестели глазами - не от водки, нет! Что там водка, если вспомнить нечего! А уж вспомнить им было чего - и геройского, и горше горького...

Возле обелиска не осталось теперь ни одного человека, и он, серый, цементный, одиноко высился среди черной предзимней наготы полей.

- Сколько же их там лежит? - в раздумье спросил Степан Холодов.

- Сорок девять, - ответил дядя Саша.

- Да-а... Где-то сорок девять дворов осиротело. Деревня целая.

- Дак они из разных мест, должно.

- Ну, это я так, к примеру.

- Сорок девять еще немного. - Холодов полез за новой папироской.

- Бывало, и по сотне, а то и больше в одну яму клали. Наш полк в три дня целый батальон потерял.

- А говорят, будто только по нашей местности четыреста таких памятников будет поставлено, - сказал Холодов. - Лектор один приезжал, так рассказывал...

- Вполне может быть.

- Сколь же тогда по всей России? - прикидывал дед Василий.

- А вот и считай...

- Да еще по Польше, да по разным другим сторонам. Под Берлином одним триста тысяч легло.

- Сказано: всего двадцать миллионов.

- А немца сколь?

- Что-то миллиона четыре с небольшим, - сказал дядя Саша.

- И только-то? - удивился Холодов.

- А что - мало?

- Нда-а... Как же так, били-били, а только четыре мильона нахлопали? Выходит: мы его одного, а он наших пятерых...

- Дак, чудак-человек, - сказал Федор. - Мы одних только ихних солдат, а они кого попада: и баб наших, и пацанов. Вот у военкома - и женку, и обеих девчушек... А сколь в Германию поугнал, в лагерях сгноил. Вот двадцать миллионов и набралось.

- Ох, лихо, лихо, - вздохнул дед Василий. - Не заесть, не запить этова. Не заесть, не запить...

Дед Василий помолчал, но вдруг, пересев половчее, сказал как-то осиянно, осветясь лицом:

- А все ж, братцы мои, помереть солдатом в бою с неприятелем - святое дело, што ни говори! Из всех смертей смерть! Ну вот што я? Ну, покопчу свет маленько, годка три-четыре, да и помру на печи. Снесут за деревню и закопают. И вся недолга. Потому как помер от старости. А вот ежели бы я там, солдатом смерть принял - это уже смерть вон какая! Глядишь, и мне памятник бы поставили.

Долго дымили сигаретами. Было слышно, как возле барабана о чем-то спорили музыканты:

- Не, Жорик, мелькомбинату ничего не светит. Кому там играть, где у них форварды? Там кирюхи одни.

- Не скажи! Вот увидишь, воткнут.

- Слабо! Они даже райпотребсоюзу продули.

Степан Холодов поправил пустой рукав телогрейки, выбившийся из-под ремня.

- Ты говоришь - четыреста... - сказал он. - Оно ежели все памятники поставить, как и положено, по тем боям, что тут были, так и пахать негде будет.

Дед Василий, сощурившись, оглядел дальние косогоры, будто прикидывал, где они должны стоять, эти не воздвигнутые ещеobeliski.

- Надо бы раньше начинать ставить-то, - сказал Федор. - По свежим следам. Молодняк вон подрос, должен видеть и знать, во что обошлось. А то уж подзарастать начало. Долго ли: плугом прошелся - и все. Равно, гладко, как ничего и не было.

- Я вам так скажу... - Дед Василий обтер ладонью усы. - Это вот пешку, к примеру, сшибли в игре, а в другой кон опять ставь, опять двигай. А у солдата жизнь одна-разьедина. Солдата не воротишь. Ну, а коли он свою голову сложил, то нету цены ей.

Возле барабана дружно смеялись ребята.

- Вот дает! Заливает!

- Чего? - кипятится Пашка. - У них один Зюзя чего стоит!

- Дерьмо твой Зюзя.

- Зюзя - дерьмо? Ха-ха! А ты видел, как он штрафной бил? Видел? Вот как от скирды до того памятника. С тридцати метров. Как врежет! Под самую планку.

Мужики помолчали, прислушиваясь к спорившим музыкантам.

- Н-да... - Тихон поскреб под черной путевой фуражкой. - Я как-то на совещание в Белгород ездил. В дистанцию пути. А там, может, видели, на площади Вечный огонь горит. А над огнем женщина пригорюненная такая. Из камня. Ночевать я не стал, думаю, уеду каким-нибудь товарняком. Иду часу во втором ночи-то через площадь, смотрю, пацаны возле Вечного огня колготятся. Лет по шестнадцати. Хохочут, на гитаре дрынчат. И девчатки с ними, все в белых платьицах. Гляжу, на граните бутылка, стакан. «Ах, говорю, поганцы вы этакие! Да разве для этого огонь тут зажгли?» - «А что, говорят, мы такое особенное делаем? Мы ж ничего не портим». - «Марш, говорю, по домам!» Осерчал я. А они и в толк не возьмут. «Мы тут до утра будем. Рассвет встречать. У нас, говорят, выпускной». Во как!

Сквозь тучи низко, у самого горизонта, пробилось солнце. Оно ударило багряными пучками по дальним угорам, что друг за другом необозримо убежали из виду. Его лучи отыскивали среди этих холмов неприметную дотоле церквушку. Трепетный, бегучий свет быстро перемещался, накатываясь все ближе и ближе, и вот уже огнем полыхнула межевая цепочка тополей на соседнем склоне медным отливом затеплились пошны, и среди них радостно зазеленели полотнища озими.

Фронтвики, привалившись к теплому боку скирды, загляделись невольно на это неожиданное прозрение солнца, на торопливый и просветляющий бег лучей его по земле.

И вдруг на фоне темного неба, загроможденного тучами, пронзительно, как вспышка, высветилась кинжально острая грань обелиска. В этот предвечерний час он выглядел особенно отрешенным, как бы вознесшимся над будничной суетой, и, может быть, потому пышная кипень венков у подножия - эта пестрота бумажных цветов, сосновой зелени, черных и красных бантов - показалась дяде Саше каким-то тщетным и ненужным убранством. Как старый музыкант, не раз имевший дело с погребениями, он не терпел венков. Скоро они пожелтеют, осыплется хвоя, дожди смоят с лент непрочные слова, написанные зубным порошком, и нет ничего печальнее видеть потом на могильной плите этот пожухлый мусор.

Солнце, посветив недолго, опять затянулось хмурой наволокой, и по краю разлилась багровая полоса заката. И вскоре предвечерняя синь и вовсе скорбно окутала холмы.

- Пора, однако, по домам. - Дед Василий оглядел небо. - Кабы дождя не натянуло. Второй день что-то мозжит нога, окаянная.

Остальные, вспомнив про разные свои дела, тоже засобирались, и дядя Саша пошел сказать своему шоферу, спавшему в кабине, чтоб тот развез фронтвиков по домам.

И вскоре, пофыркивая и покачиваясь на ухабах, машина увезла и деда Василия, и всех прочих.

К вечеру поутихло. Тучи присмирело сгрудились, непроницаемой толщей повисли над головой. Начало моросить - сперва одной только мокрой пылью, а потом посыпало и всерьез.

Оркестранты, оставив лежать на жнивье инструменты, укрылись под застрехой обдерганной скирды.

Уже в который раз выходил дядя Саша на край пахоты, подолгу глядел в сторону большака, откуда вот уже два часа дожидались машины. Но кругом было глухо, как бывает только в осеннем, ненастном поле.

- Ну что, старшой? - нетерпеливо окликали его оркестранты.

Дядя Саша молча возвращался к стогу.

- Небось самогон трескает, - заключил о шофере Пашка. - Это точно.

Ребята угрюмо дымили сигаретами. Было слышно, как в душной утробе скирды пищали и возились мыши. Кто-то вспомнил, что сегодня наши играют на кубок с испанцами и что теперь не удастся посмотреть, потому что игру будут транслировать в семь, а уже начало седьмого.

- А у меня сегодня верная десятка гавкнула, - сказал альтовик Сохин, до самого подбородка обросший бакенбардами. - А то и побольше.

- А тебе куда? - поинтересовался Иван Бейный. - На «жмурика»?

- Ха, на «жмурика»... - Сохин брезгливо поморщился. - На «жмуриков» я уже давно не клюю. Это ты, поди, трояки там сшибаешь. На свадьбу в одно место приглашали.

- Свадьба - это дело, - согласился Иван. - Я быва-ал. Только играть помногу заставляют.

Иван Бейный принялся выдергивать слежало запахшую солому, долго по-собачьи уминал ее, подтыкал под бока и наконец затих. Вскоре раздался его мерный храп.

- Гаммы проигрывает, - усмехнулся Ромка.

Дождь заметно прибавил прыти, зачастил по плащам, парни, подбирая под себя ноги, все теснее жались к скирде. Один Иван Бейный беспечно похрапывал, не замечая сырости. Откуда-то налетела стая грачей, густо усеяла небо и полетела гомонящей полосой на восток, к ночевкам, исчезая, растворяясь в серой кисее дождя. С пролетом грачей вечер окончательно загустел, близко обступил скирду сумерками, и оттого время потянулось еще тягучей. Пашка снял с себя свою куцую «болонью», попробовал укрыться, но не улежал под нею, сырость и копившееся раздражение подняли его, он отшвырнул плащ, как затравленный хорек, свирепо зыркнул по сторонам.

- И на кой хрен надо было отдавать машину! - сплюнул он, яростно тряхнув за плевком рыжей всклокоченной головой. - Теперь вот припухай.

- Да, тут старшой перемудрил, - отозвался Сохин, неприязненно поглядывая, как дядя Саша взад-вперед прохаживался вдоль стога.

Остальные сдержанно помалкивали.

- Всего-то пару раз и сыграли. Стоило ли переться в такую даль! - продолжал распалиться Пашка. - Другого оркестра не могли найти, что ли? Да теперь в каждом колхозе полно духачей. - Он рывком опять натянул на себя плащ, ткнулся головой в солому и уже из-под «болоньи» выкрикнул: - Небось старшой сам и напросился!

- Да помолчи ты наконец! - оборвал его дядя Саша.

Сдерживая себя, он побрел к инструментам, тускло поблескивавшим в стерне. В сумерках едва не споткнулся о барабан, плашмя опрокинутый поодаль. На кожаной деке вокруг опорожненных бутылок мокли клочья газеты, яичная скорлупа, остатки недоеденной хамсы. Старшой весь закипел от гнева: хотя бы убрали за собой эту пакость, черт возьми! И, чувствуя, что уже не владеет собой, вдруг крикнул:

- Разобрать инструменты!

Парни, не поняв, что стряслось, затаенно остались лежать.

- Встать всем! - глухо проговорил дядя Саша, чувствуя, как немеют челюсти.

Музыканты, еще помедлив, нехотя завозились в соломе.

- А в чем дело, старшой? - с небрежной растяжкой осведомился Сохин. И, не получив ответа, пожал плечами. - Что это он, а?

Поеживаясь от дождя, на ходу вытряхивая из пиджаков и штанов полову, оркестранты понуро побрели разбирать трубы.

Послышались раздраженные голоса:

- Чья альтуха?

- Да тихо ты, козел, валторну раздавишь. Смотреть надо!

- Заткнись!

- Иван, забирай свою иерихонскую!

Дядя Саша, не дожидаясь, первым ступил на глыбистую, уже порядком промокшую пашню. Оркестранты, увязая в раскисшей земле, вразнобой плелись следом. На проселке старшой остановился и, когда выбрались все остальные, скомандовал:

- По три разбери-ись!

Ребята недовольно запротестовали:

- А зачем? Что мы, новобранцы, что ли? Кому это нужно?

- Прекратить разговоры!

Порядок построения оркестра все знали хорошо: корнеты - вперед, за ними тенора, альты, басы... Но было непонятно, зачем идти строем, да еще в дождь.

- Да брось фасонить, старшой, - снова попробовал отговорить Сохин. - Ну, чего ты?

- Стать в строй! - Голос дяди Саши звучал непривычно чужим и непреклонным.

- Ого! - отпрянул Сохин и с недоуменной усмешкой втиснулся между Курочкиным и Белибиным.

- Барабан здесь? - окликнул дядя Саша, оглядывая хмуро переминавшихся оркестрантов.
- Здесь! - подал голос Сева из заднего ряда.
- Бейный бас?
- Ну, вот он я... - неохотно отозвался Иван.
- Шагом ар-рш! - Дядя Саша круто повернулся и зашагал вниз. - И не отставать!

Шли в отчужденном молчании, было только слышно липкое чавканье подошв на осклизлом проселке да бряцанье труб, задевавших друг друга. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой и, застыя от дождя, закуривал на ходу. И только Пашка продолжал недовольно бубнить, понося шофера, дорогу, погоду и свою горькую судьбу.

- И куда мы? - с язвительностью спросил Сохин.
- «Куда, куда!» - сразу пыхнул Пашка. - С кудыкиной горы - в тартарары.
- Ясное дело: теперь до большака, - предположил Жора.
- Ничего себе! Километров десять! Ну, а там что?
- А там - на попутку.
- Плевать! - фыркнул Пашка. - Идем до первой деревни.
- А на работу? - с растерянностью спросил Курочкин. - Мне завтра в первую заступать.
- А это старшой отвечает. Наше дело телячье.

Склон был крут, ноги ступали будто в пустоту. По сторонам все выше дыбились горбы соседних холмов, и все меньше оставалось над головой тускло-серого неба. Угор нескончаемо сбегал и сбегал вниз, дорога уже едва различалась, и оркестранты, скользя и разъезжаясь ногами, спускались будто в преисподнюю, сокрытую дождем и надвигавшейся темнотой.

Где-то ниже вдруг охватило подвальным холодом, дохнуло стоялой водой, жухлой осокой. Под ногами зачавкала жижа.

- Все! Начерпал в корочки, - кисло объявил Пашка. - На той неделе тридцатку отдал, теперь хана им.
- А ты ходи по камушкам, - усмехнулся Ромка.
- По каким камушкам? Какие тут камушки - сплошное болото.

Дорогу обступили черные громады раки, под которыми сразу стало темно, как в пещере. Дождь глухо шумел где-то высоко над головой, путаясь в чащобе веток, и лишь отдельные капли разреженно и тяжело колотили по спинам. Строй окончательно рассыпался, оркестранты брели как попало, прощупывая места потверже. Под ногами захрустел скользкий хворост, должно быть наваленный шоферами в топких колдобинах. Ветви пружинили, цеплялись за штаны, больно хлестались, из-под них при каждом шаге с хлопом выбрызгивалась грязь. Иван Бейный вместе со своим басом залетел в какую-то канаву и долго шуршал кустами, отыскивая кепку. Выбравшись на твердое, он стал уверять, что идет вовсе не

туда, не по той дороге, и вообще зря стронулись с места.

- Вот увидите, запремся куда-нибудь, - ворчал он, долговязо и неуклюже перепрыгивая по затонувшим следам. - Днем, когда ехали, никакого болота не было.

- Это точно! - злорадствовал Пашка. - Завел Сусанин. И чтоб я еще куда поехал! Мотал я такую самодеятельность!

Дядя Саша остановился, подождал Пашку.

- Ты вот что, Павел, - сказал он, придерживая парня за рукав. - Возьми-ка у Севы барабан.

- А почему, спрашивается, я?

- Да потому, что у тебя одни тарелки.

- Пусть Курочкин несет, любимчик твой. С его мордой только барабан таскать.

- Нет, понесешь ты, - жестко сказал дядя Саша.

- Все Павел да Павел, - передразнил Пашка. - Целый день придираешься.

- Ну хорошо. Не возьмешь барабан - понесу я.

Пашка угрюмо молчал, пытаясь освободить рукав из крепко державших дяди Сашиних пальцев. И вдруг заорал:

- Севка, паразит, давай свое грохало!

- Ладно, дядь Саш, я сам, - откликнулся Сева. - Мне еще не тяжело.

- Отдай, отдай! - строго настоял дядя Саша и, отпустив Пашку, пошел вперед. - Пусть понесет.

Пашка сорвал с подошедшего Севы барабан, сунул ему тарелки и, зло выматерившись, дал парнишке пинка.

- У, оглоед!

Ребята гуськом проходили мимо Пашки, не ввязываясь в спор. А Пашка, усевшись на барабан, жадно курил и, когда все прошли, поплелся сзади, чтобы ни с кем не идти рядом.

Держась за хлипкие перильца, ощупью минули какой-то мосток, который то ли был, когда ехали сюда, то ли не был.

Наконец кончился ракушечник, и постепенно начал угадываться подъем. Небо расширилось и, казалось, даже чуть посветлело. Все ожидали появления деревни. Но дорога, враз раскисшая, налившаяся водой по колеям и выбоинам, все тянулась куда-то с удручающей прямизной, все маячили надоедливо телеграфные столбы в серой хляби меркнувшего неба, и ничего не было слышно, кроме дождя, хлеставшего по спинам и трубам. Парни нахохленно брели за дядей Сашей, уже не обходя ни луж, ни колдобин. Двенадцать пар башмаков, еще утром начищенных до щегольского сияния, нестройно и безразлично чавкали, осклизались, хлюпали в сметанно-вязкой жиже, и в этой беспорядочной толчее ног старшой улавливал скрытое недовольство самолюбивых, ничего еще не видевших мальчишек, почитавших себя на этом пути мучениками и жертвами несправедливости и произвола. В общем-то, конечно, получилось довольно

нескладно, и дядя Саша испытывал неприятное чувство вины перед ними, но ведь должны же и они понимать то главное, ради чего он это сделал – отдал фронтовикам машину.

...В сорок третьем из запасного полка вывел он сотни три вот таких же зеленых, необстрелянных парней. И так же лили дожди и непролазны были дороги. Шли только ночами: остерегались авиации. К рассвету делали по тридцать – сорок километров. Тяжелые кирзачи, мокрые, разбухшие шинели, не успевающие просыхать за время коротких дневок, скудный паек и сон не вволю. Парни усыхали на глазах: осунулись, потемнели лицами. К концу недели засыпали на ходу: глядишь, идет, уронив голову, держится за соседа, как слепой. Несколько минут такого неодолимого забытья – и опять топают, месит нескончаемую грязь прифронтовой дороги. Последние тридцать верст уже не шли, а буквально домучивали. Помнится, как в рассветной мгле наконец завиднелись постройки пункта назначения. У всех билась одна только мысль: дойти, свалиться и спать, спать – все равно где, на чем...

И вдруг конный посыльный: прибывшее пополнение будет встречать сам командир полка. По колонне понеслось: «Подтянись! Разобраться по четыре! Оправить обмундирование!» На перекрестке в открытом «виллисе» стоял старый усатый подполковник. Он поднял руку к забинтованной голове, отдал честь едва тащившейся роте. «Поздравляю со вступлением в Действующую армию! – хрипло выкрикнул командир полка. – Всем присваиваю звание гвардейцев!» И в тот же миг за его спиной оркестр грянул веселый праздничный марш: «Утро красит нежным светом...» Утро было хмурое, лохматое, в глинистых лужах пузырился осточертевший дождь. Понурые, забрызганные грязью солдаты как могли подровняли нестройные, разорванные шеренги, приподняли отяжелевшие головы, первые ряды даже попытались отбить строевым – так радостно, ободряюще гремела музыка, так звала она к чему-то прекрасному и необыкновенному! «Кипучая, могучая, никем не победимая!» – звонко, радостно пели трубы, и рота, воспрянувшая и слившаяся, вторила им тяжелым и грозным шагом. «Хорошо идете, товарищи гвардейцы! – перекрывая оркестр, крикнул дрогнувший лицом старый подполковник. – Благодарю за службу, сынки!»

В то утро дневки не было. Роте выдали оружие и вручили приказ на новый тридцатикилометровый сформированный бросок.

Тем же вечером дядя Саша водил их в первую контратаку. Прорвавшийся враг был остановлен, но многие из них тогда не вернулись...

- Подтяни-ись! – подбодрил парней дядя Саша, прислушиваясь к разреженным шагам на дороге.

На взгорке возле крайней избы старшой остановился. Сквозь перехлест дождя из окон бил яркий и ровный электрический свет, выхватывавший из темноты мокрый почерневший штакетник, за которым в палисаднике захлеб булькала переполненная кадка. Один по одному к избе молча подходили все остальные. Иван Бейный снял с плеча свою «иерихонскую», опрокинул раструбом книзу и вылил скопившуюся воду. Почуввав за воротами чужих, во дворе загремела цепью, заметалась собака. На ее хриплый, остервенелый брех в коридоре слышались шлепающие шажки, громыхнул деревянный засов, и в освещенных дверях появилась девушка в долгополом халате.

- Ой, кто это? – отпрянула она, увидев сверкавшие на свету трубы.

- Бременские музыканты, – нарочитым басом отозвался Ромка, всегда готовый потрепаться с девушками.

- Ой, ничего я не знаю! Ма, а ма! - Девушка убежала, бросив дверь открытой. - Ма, там пришли-и...

В распахнутом коридоре были видны клеенчатый конторский диван с высокой спинкой, лопушистый фикус, белые цинковые ведра на деревянной скамье. Серый кот клубком спал на лоскутном коврикe, постланном у порога на чистом крашеном полу. Потревоженный кот вытянул передние лапы в сладком зевке, поцарапал коврик и недоуменно уставился на незнакомых людей, столпившихся у крыльца.

- Ну как, братва, слабаем?

- Рванем!

- Ой, давайте, давайте! - Студентки забили в ладоши.

На пороге кухни появился Ромка, по-хозяйски навалясь на косяк, возбужденно сказал:

- Шеф, там девчонки шейк просят сбачать. Как смотришь?

Дядя Саша даже не понял сразу, о чем говорил ему Ромка.

Он не сразу оторвался от окна, посмотрел на него каким-то невидящим взглядом и опять отвернулся. Ромка озадаченно помолчал и спросил уже потише, поспокойней:

- Дядь Саш? А дядь Саш? Поиграть можно?

Тут подала голос старуха, она уловила Ромкин вопрос и, тронув дядю Сашу за руку, тоже попросила:

- Сыграй, милай, сыграй. У нас прежде в дому завсегда весело было. Лексей музыку любил. Он гармошку и на фронт забрал. Я ну его укорять: Леша, сынок, куда ж ты ношу такую, помеху-то? Будет ли тебе там когда играть? А он смеется: сгодится, мама, сгодится. Ну, да он и там время отыщет, он такой... Дак и Коля тоже любил... Сыграй, милай, сыграй.

Дядя Саша пристально взгляделся в старуху и услышал ее. В раздумье повернулся, посмотрел в вопрошающие Ромкины глаза, сказал негромко:

- Давай, правда, сыграем, Роман. - И убежденно добавил, вставая: - Несите-ка инструменты.

В комнате притихшие было ребята сразу загалдели, загремели стульями, живо вышли в сени за трубами. Подали и дяде Саше его черный чехол, и он вслед за Пелагеей шагнул в горницу. И старуха приковыляла, села в сторонку к окошку. Девчата уже поспешно составляли к стене стол, стулья, освобождали место под танцы.

- Ты что ж, Сим, так и будешь в тренировочном костюме?

- А что? Шейк ведь! Вон и Вера в халате.

- Я не буду, - замялась Вера. - Я не умею такие.

- Ну что ты! Чего тут уметь. Пойдем, пойдем, я тоже туфли надену.

И девушки скрылись за занавеской.

- А ты почему не взял инструмент? - Дядя Саша покосился на Сохина, в стороне жевавшего яблоко.

- Да я потанцую. Хватит вам и одного альта.

- Ты мне нужен как раз. Иди возьми.

Сохин передернул плечами, недовольно вышел.

Ребята, каждый со своим инструментом, окружив старшего, изготовились, поглядывали, как он распускал на чехле завязку, как не спеша обнажал свой прекрасный, сверкавший чистотой корнет. Делал он это как никогда торжественно, сосредоточенно, будто незрячий. Принаряженные девчата, сдержанно переговариваясь, расселись возле Пелагеи, и та участливо осматривала их прически и платья.

Дядя Саша постучал ногтем по корнету.

Трубы замерли в изготовке.

И, глядя вниз, на свои пальцы, что уже лежали на клапанах, выждав паузу, он объявил, разделяя слова:

- Шопен... Соната... номер... два.

Какое-то время оркестранты смутенно смотрели на старшего, глазами, немой своей как бы спрашивая: какая соната? При чем тут соната? Кто-то удивленно шепнул: «Чего это он?» Девчата тоже переглянулись. И только Пелагея, ничего не поняв, продолжала улыбаться и радостно ожидать музыки.

Дядя Саша опять постучал по трубе:

- Играем часть третью. Вы ее знаете.

- Ну, знаем, конечно... - сдержанно кивнул за всех Ромка.

- Прошу повнимательнее.

Он еще раз оглядел оркестр.

- Начали!

И, все еще недоумевая, думая, что произошла ошибка, оркестранты с какой-то обреченной неизбежностью грянули си-бемольный аккорд, низкий, тягучий, как глубинный подземный взрыв.

Пелагея, для которой слова «соната», «Шопен» означали просто музыку, а значит и веселье, при первых звуках вздрогнула, как от удара. Она с растерянной улыбкой покосилась на старуху, но та лишь прикрыла глаза и поудобнее положила одна на другую ревматические, сухие руки.

Дядя Саша кивком головы одобрил вступление и сделал знак повтора. Парни, все разом переведя дух и взяв чуть выше, уже уверенней, увлеченней повторили эти басовые вздохи меди. Ему было видно, как пристроившийся позади остальных Иван Бейный старательно надувал щеки, вперив смятенный взгляд в какую-то одну далекую точку.

Возле него маленький круглолицый Сева, давая отсчет тактам взмахами колотушки, отбивал тяжелую медленную поступь траурного марша. И Пашка с еще не просохшими после дождя взъерошенными волосами вторил Севе тарелками, которые всплескивались среди басов и баритонов тревожной медной звенью.

Звуки страдания тяжело бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, в оконные, испуганно подрагивающие стекла.

Когда была проиграна басовая партия, вскинулись, сверкнув, сразу три корнета, наполнив комнату неутешным взрыдом.

Принаряженные девчата, потупив глаза, уставились на свои туфли, обмякла плечами и Пелагея, и только старуха, держа большие темные руки на коленях, сидела недвижно и прямо.

Серое ее лицо, изрытое морщинами, оставалось спокойным, и можно было подумать, что она уснула под музыку и вовсе не слышит этого плача труб в ее бревенчатом вдовьем доме. Но она слышала все и теперь, уйдя, отрешившись от других и от самой себя, затаенно и благостно вбирала эту скорбь и эту печаль раненой души неизвестного ей Шопена таким же израненным сердцем матери.

И дядя Саша вспомнил, что именно об этой великой сонате кто-то, тоже великий, сказал, что скорбь в ней не по одному только павшему герою.

Боль такова, будто пали воины все до единого и остались лишь дети, женщины и священнослужители, горестно склонившие головы перед неисчислимыми жертвами...

И тут Вера, внучка, вдруг закрыв лицо руками, кинулась за занавеску.

Девушки тоже поднялись и одна по одной, ступая на носках, пошли к ней. И как проливается последний дождь при умытом солнце – уже без туч и тяжелых раскатов грома, – так и дядя Саша повел мелодию на своем корнете в тихом соупутствии одних только теноров: без литавр, басов и барабанов.

Это было то высокое серебряное соло, что, успокаивая, звучало и нежно, и трепетно, и выплуканно, и просветленно.

Освободившиеся от игры ребята – басы, баритоны – в немой заворуженности следили за этим необыкновенным девичье-чистым пением дяди Сашиного корнета, звучащим все тише и умиротвореннее. Печаль как бы истаявала, иссякала, и когда она истончилась совсем, завершившись как бы легким вздохом и обратясь в тишину, дядя Саша отнял от губ мундштук. Бледный, вспотевший, он торопливо, потерянно полез в карман за платком. Он почему-то не стал возвращаться к басовому началу, которое у Шопена повторялось в самом конце шествия. Видно, ему не хотелось заглушать свет этой успокаивающей и очищающей мелодии тяжелой эпитафией.

И когда он утер лицо и не спеша, устало принялся зачехлять трубу, в горнице все еще молчали. Было только слышно, как изредка всхлипывала за ситцевой занавеской Вера.

Старуха наконец встала и, отстранив рукой Пелагею, которая кинулась было поддержать ее, поковыляла одна, шаркая подшитыми валенками.

– Ну, вот и ладно... – проговорила она. – Хорошо сыграли... Вот и проводили наших... Спасибо.

И, остановившись посередине горницы, перекрестилась в угол.

Оркестранты молча закуривали.

Они шли к большаку непроглядным ночным бездорожьем Все так же сыпался и вызванивал на трубах холодный невидимый дождь, все так же вязли и разъезжались мокрые башмаки проходили набухшие водой низины, глухие распаханые поля, спящие деревни, откуда веяло палым садовым листом и редким дымком затухающих печей. Нигде уже не было ни огонька и лишь недремные деревенские псы, потревоженные чавканьем ног на дороге, взхлеб брехали из глубины дворов.

Шли молча, сосредоточенно, перебрасываясь редкими словами, и старшой слышал близко, сразу же за собой, тяжелое упрямое дыхание строя.

Как тогда, в сорок третьем...

И дядя Саша, придерживая рукой разболевшееся глухо ноющее сердце, что донимало его последние годы, громко подбодрил оркестр:

- Ничего, ребята, ничего. Скоро дотопаем...

Фагот

Он объявился в том дворе перед самой войной, где-то года за полтора до ее начала.

По строгой мерке война - та, большая, всеохватная, от которой планета потом полыхнула, будто сухая копна сена от брошенного окурка, занялась уже где-то в Польше. Но тогдашним пацанам, дворовым стратегам, этот немецкий окурочок брошенный в одинокое, ничейное польское остожье, тогда показался сущим пустяком, тем более что случилось это далече и Красной Армии, пожалуй, вовсе не "светило" в нем поучаствовать, показать себя... А хотелось: ведь все мы наизусть знали, что "броня крепка и танки наши быстры" и уж "если завтра война, если завтра в поход", то...

Томимые неопределенностью, мы как-то нехотя пошли в школу и сели за свежевыкрашенные парты без обычной праздничной приподнятости.

И вот наконец, кажется, началось...

Недели через две от гарнизонных казарм к городскому железнодорожному вокзалу потянулись первые колонны пехотинцев в полном походном снаряжении с перекинутыми через плечо шинельными скатками, противогазными подсумками и новенькими необношенными вещмешками.

Роты шли молча, без привычных банных песен, и только глухой резиновый топот кирзовых сапог создавал строгий ритм согласованного движения.

Потом две не то три ночи по булыжной мостовой громыхали обозные пароконки, походные кухни, санитарные фуры с красными крестами на округлых крышах. Фыркали и всхрапывали застоявшиеся в кирпичных стойлах полковые кони, с железной звонцой клацали подковами, высекая голубые искры из лобастых сверкачей. Терпко пахло ременной сбруей, колесным дегтем, свежими конскими катышами.

Ребятишки допоздна просиживали за воротами, обомлело вглядываясь в мельтешащие

сумерки, где под редкими фонарями в клубах потревоженной пыли нескончаемой лавиной катилось наше тогдашнее конно-тележное воинство. Наверное, так же оно уходило в поход еще во времена крымской кампании. И только иногда, словно примета текущего времени, уличную темень пронизывали лезвия желтых лучей из прорезей подфарников начальственной "эмки", должно быть, объезжавшей боевые порядки.

Тогда еще никто не знал, что наши курские полки тоже отправлялись освобождать из-под панского гнета братские народы Западной Украины и Белоруссии.

С рассветом передвижение войск прекращалось, и город как ни в чем не бывало снова наполнялся обычными прохожими: кто спешил на службу, кто на рынок, а ребятишки, в том числе и мы, - в школу, на занятия. Дворники же, вооружась совками и метлами, принимались сметать и выскрести следы ночного столпотворения.

Однако по прошествии недолгого времени возбужденный город постепенно успокоился, воротился к своему прежнему неспешному бытию. Были отпущены по домам некоторые возраста, излишне прихваченные переусердствовавшей мобилизацией. Газеты и уличные говорящие устройства приподнято сообщали, что недавняя частичная переброска войск, проведенная в некоторых военных округах, - всего лишь осуществление освободительной миссии нашей Красной Армии. Трудящиеся Львова, Ужгорода, Владимира-Волинского, а также Брест-Литовска, Гродно и Белостока уже встречают своих освободителей охапками цветов и благодарными возгласами. Говорилось также, что все эти города были освобождены без сопротивления польских гарнизонов, которые выбрасывали белые флаги при одном только появлении наших неустрашимых войск.

...Пришла ранняя погожая осень, едва тронувшая позолотой обширные курские сады. С окраин веяло затяжелевшей антоновкой, винной усладой перезревающих слив, вишневой смолкой из уже начавших багроветь вишенников. А на главной городской площади, возле кинотеатра "Октябрь", переделанного из бывшего собора, с самого рассвета змеилась очередь за билетами на "Красных дьяволят". В новеньком цирке, возведенном на месте толчка - шумной, горластой, вороватой барахолки, - успешно выступал народный богатырь Иван Поддубный, афишные портреты которого с закрученными усами и бугрящимися бицепсами трепал ветер на каждом перекрестке. В Пролетарском же сквере под брезентовым куполом заезжего "шапито" трещали и подвывали мотоциклы, пронесившиеся у самого потолка. Случалось, какой-либо тучной тетке делалось плохо - не то от выхлопных газов, не то от головокружительного мелькания гонщиков, и ее спешно выносили в соседний скверик - на свежий воздух.

В одно сентябрьское выходное утро свободные от школы пацаны, по обыкновению, собрались на уличном крыльце соседнего детского сада. Раз в неделю это кашеманное учреждение не работало, входная дверь была заперта, а просторное крыльцо, освещенное ранним заспанным солнышком, приятно согревало теплыми сосновыми ступенями. Неожиданно к ватажке подступился никогда ранее не виденный прохожий фраерок и, остановившись перед порошками, заслонил собой солнце. На вид он выглядел гораздо старше их и, следовательно, был сильнее каждого в отдельности. К тому же солидность и явное превосходство ему придавал чернявый чубчик, свисавший над переносьем. Парень был облачен в красную спартаковскую майку с белой шнуровкой на груди. Майка просторно, пустовато свисала с его не очень-то атлетических плеч и наверняка досталась не по футбольным заслугам.

Особую неприязнь вызвал маленький франтоватый чемоданчик с металлическими нашлепками на всех углах, в каких настоящие футболисты носили свои ошипованные бутсы. Сережка Махно окинул многозначительным взглядом настороженные лица, что означало: "А не посчитать ли ребра у этого оторванца?" Их было человек шесть - вполне хватило бы разом налететь, дать

подножку и завалить фраера в дождевую канаву.

А он как ни в чем не бывало, непринужденно, улыбочиво мельтешил чемоданчиком, заглядывал под оконные занавески детского сада, потом долго пялился в глубь двора, на его сарайчики, голубиную решетку, пестрые постирушки на веревках - глядел с въедливым интересом, будто выцеливал что-либо слямзить.

- Вы тут живете? - спросил он, не переставая подозрительно озираться.

- А тебе чево? - набычился Серега.

- Да так просто...

И вдруг, отерев о штаны ладошку, протянул ее сперва Сережке, потом всем остальным и каждому по-приятельски, со встряхиванием, пожал руку, называя при этом свое имя - "Ванюха", "Ванюха", "Ванюха"...

- А ты что, настоящий футболист? - примирительно спросил Махно. Бобочка на тебе клубная... Или где-нибудь с веревки сдернул?

Парень ничуть не обиделся на ехидный выпад Сереги, а только еще больше и расположительней растянул губы в улыбке.

- А в чемоданчике взаправду бутсы? - настырничал Махно. - Покажь! Никогда близко не видел!

- Да нет там ничего! - Ванюха переложил чемоданчик в другую руку. - Так, барахлишко всякое. А эту футболку я у одного спартаковца во Мценске за финяк махнул. Вместе с чемоданчиком.

- А Мценск - это чево?

- Город такой... Сначала Орел будет, а потом уже Мценск. Это если отсюда ехать... А если сюда, то наоборот, понял?

Серега, конечно, ничего не понял, но согласно кивнул.

- Я там в детдоме жил, - пояснил Ванюха.

- Урка, что ли?

- Ну почему же урка? - рассмеялся тот. - Я в прошлом году на конкурсе детских домов второе место по фаготу занял.

- А это чево?

- Фагот? Это такая деревянная дудка с клапанами. И с тростниковым язычком. Тросточкой называется. Когда дуешь - тросточка и телеблется, мозжит, значит. Получается звук. У фагота свой звук, фаготовый. Его ни с кем не спутаешь.

Ванюха поставил чемоданчик на землю и, зажав нос большим и указательным пальцами, нагундел мотивчик из "Лебединого озера". Звук получился глухой, гнусавый, будто возникший под ватной шапкой. Слышать это было забавно и непривычно, и все дружно рассмеялись.

- Чево, чево это? Как ты назвал?

- Так звучит фагот.

- А ну, Фагот, подуди-ка еще! - развеселились пацаны. Ловко получилось.

- Ну, я только показать, - уклонился Ванюха. - Фагот, это тебе не бузиновая сопелка. Он может выдать сорок два звука - от си-бемоль контроктавы до ми-бемоль второй октавы. Во сколько!

- Ух ты! - просто так удивился Сережка. - А мы думали, ты шпана. Тогда как же финяк? Что на футболку променял? Откуда он у тебя? Скажешь, нашел...

- Да не-е. Мы их сами делали. Когда по слесарному занимались. Втихую от воспитателя. Столовым ножиком разживемся, а ручку к нему из всякой всячины набираем: из старых телефонов, костяных гребешков. Алюминий за серебро сходил, если надраить. Ножики с наборными ручками хорошо шли, братва на курево зашибала. Или меняли на чего-нибудь.

С того момента, как Ванюха зажал нос и попытался показать, как звучит фагот, его почему-то больше не называли по имени, а тут же окрестили Фаготом, и тот, нисколько не противясь, легко принял это близкое и даже лстящее прозвище, каковые имел каждый. Ну, скажем, Серега, за то, что с началом летних каникул напрочь переставал стричься и к осени зарастал свалявшейся папашой, был обозван батькой Махно, чем оставался весьма доволен и горд.

- Слушай, Фагот, а ты к нам по какому делу?

- Хожу вот мать ищу.

- Потерялась, что ли?

- Десять лет не виделись.

- Как это?

- Долго рассказывать.

- Ты что, из дома убежал?

- Да не, не так... Мы тогда в деревне жили. Тут, где-то недалеко. Не помню названия.

- Ну и чево?

- Ночью отца забрали и увезли куда-то. Потом добро наше вывезли: хлеб, скотину. Это мать мне рассказывала, когда мы по станциям куски собирали. С нами еще двое пацанов было, братья мои. Как звали, тоже не помню. Меньший совсем пеленочник, еще грудь сосал. А грудь-то у матери - сморщенная кожа. Орал до посинения. Бывало, мать трясет тряпичный сверток, а сама тоже плачет. К тому времени я уже кое-чего кумекал: сам попросить мог, а то и стибрить чего на станции у бабульки: огурец, оладик картошешный. Небось, посчитав, что без нее я уже пропаду, она выждала, когда поезд тронулся с места, подхватила меня под закрылки и запихнула в побежавший тамбур. "Прости, сыночек!" - услышал я вдогон ее сорвавшийся выкрик. И вовек не забуду, как она, прижимая к груди спелёнатого братишку, другой рукой щепотью крестила застучавшие колеса, будто посыпала их чем-то.

- А ты чево же? Взял бы да выпрыгнул...

- Ну да... Поезд уже вон как раскочегарился! Когда далеко отъехали, проводница нашла у меня за пазухой измятую бумажку. Мать моя не умела писать, кого-то попросила назвать в той

бумажке мои имя, фамилию, год и месяц рождения. Должно, заранее обдумала, что со мной сделать. Ведь у нее на руках еще двое совсем никчемных оглоедов осталось.

"А бумажку эту ты береги! - сказала тогда проводница. - Без бумажки ты никто, понял? Снимай-ка штаны, я к ним карман подошью. Там будешь ее хранить".

В служебном купе она налила мне кипятку, дала кусок сахара и настоящую белую булку, а сама принялась метать карман, которого у меня дотоле еще не было: его заменяла побирушная сумка.

Во Мценске на вокзале проводница сдала меня дежурному по перрону, а тот переправил в тамошний приют. А когда вырос, принялся писать, запрашивать. И вот только теперь сообщили, где моя мать... Я и приехал...

Фагот достал из заднего кармана казенную открытку, сличил написанное в ней с обозначением на уличном фонаре.

- Все сходится! - еще раз уверился он. - И улица, и номер дома. Значит, где-то тут она, матушка моя!

- А зовут-то ее как?

- Катя! Катерина Евсевна!

Сергея растерянно заморгал.

- А фамилия какая?

- Да Чистикова она! Екатерина Чистикова.

- Погоди, друг... - Серега еще больше раззявился смущенно. - Дак я и сам Чистиков! Пацаны! Скажите ему, что и я Чистиков! И вот он, Миха, тоже... Который меньший, который после меня родился... Что же получается? - развел руками Махно и озернулся на сотоварищей, будто ища у них какого-то последнего слова истины. - Выходит, ты братан мой? А я - твой? Родня друг другу?

- Выходит, так! - Фагот радостно соглашался быть братом этому чумазому и до сих пор босому (октябрь на дворе!) забияке с багровым, рубленным шрамом на подбородке - прошлым летом он подкрадывался к залетному чужаку, сорвался вместе со ржавой водосточной трубой и ударился подбородком о край дождевой бочки. Потом месяц ничего не ел, кроме жиденькой кашки.

- Ну, тогда давай еще раз поздоровкаемся! При свидетелях! Ведь мы давеча хотели тебе морду набить. - Серега ступил навстречу Фаготу. - А ты братаном оказался! Во дела! Миха, и ты давай подходи: он и тебе теперь свойский...

Тем моментом кто-то из пацанов стукнул в крайнее оконце надворного строения, где теперь обитали уцелевшие Чистиковы, и следом, будто заполошная курица, вылетела тетка Катя, то есть то, что оставила от нее лихая судьбина, - маленькое, щупленькое существо в косом платочке, вся какая-то серенькая, ветошная от мелкой крапчатости своей ситцевой застиранной одежды. Она еще издали распахнула бесплечие ручки, будто готовясь повителью обвиться вокруг нашедшегося сына, но вместо объятий упала перед Ванюхой на колени и цепко, страстно охватила его ноги, воткнувшись в них лицом и содрогаясь в тихом бессловном

плаче.

До появления Фагота никому из обитателей этого переполненного странноприимного дома не было ведомо, что у тетки Кати, тихой, покорной женщины, помимо двух мазуриков - Михи и Сереги, - был где-то на стороне еще и третий сын, которого она сама, своими руками придала безвестности и беспризору. Лишь в глубокой ночи, за сдвинутыми занавесками извлекала она со дна деревянного ларца бронзовый старообрядческий складенек с житием пресвятой девы Марии и покаянно выкладывала заветному образу собственный грех, прося мать Божью уберечь, не дать загинуть большенькому отроку.

Младшие побродяжки, Серега и Миха, оставшиеся при бездомной матери, убереглись от мора тем, что в самую голодную добрые люди пожалели Катерину и взяли ее в заводской детский садик истопницей и посудомойкой. Ей было дозволено для своих детей соскребать со стенок котлов пшениные пригарки. Кастрюльные сполоски Катерина тоже не выплескивала зазря, а добавляла в них подзаборную крапиву, овражную сныть или щавелевые побежки. Иногда такой похлебкой она потчевала и других пацанов своего подворья.

Постепенно петля повальной голодухи ослабила свою затяжку. К польскому походу витрины магазинов повеселели от выбора конфет, печений, обсыпанных маком баранок и причудливо заплетенных хал. На перекрестках открылись павильоны с мороженым, розовым морсом и сельтерской водой. Над уличными забегаловками красовались намалеванные раки и пивные кружки, оплывшие кучерявой пеной. В табачных ларьках, еще издали заманчиво пахнущих своим товаром, вновь появились дорогие коробчатые папиросы: "Казбек", "Ялта", "Наша марка", "Дерби" и "Герцеговина-Флор", вкус которых вездесущая пацанва уже извела по окуркам, подобранным возле изысканного тогда кинотеатра Щепкина. Видных посетителей он привлекал буфетом с фарфоровыми кувшинчиками ликера "Кюрасо", симфоническими новинками, исполнявшимися в верхнем фойе, и алым бархатом амфитеатра.

Фагот как-то быстро и непринужденно, без всяких претензий втиснулся в свою новую жизнь, как будто всегда тут и был.

Десятиметровая комнатенка, в которой ютилась Катерина с двумя ребятами, имела единственное оконце, выложенное в старинной метровой кладке, отчего подобилась богоугодной обители. К тому же окно было заставлено по-зимнему сдвоенными рамами, умалявшими свет и не пропускавшими воздух. Проживать вчетвером в таких условиях сделалось тесновато. Но неисчерпаемая Катерина и тут нашла выход. Свою узенькую послушницкую кроватку она отдала старшенькому, а Махно и Миха, как и прежде, остались на топчанчике, устроенном под столом: сверху столешница, а под ней дощатый настильчик для спанья. Сама же перебралась в детское заведение, где на кухне у печной стеночки приспособила раскладушку. Проявляя понимание, заведующая садиком дооформила Катерину еще и ночным сторожем, чтобы та могла ночевать на кухне с полным основанием, вопреки запретам общественного надзора.

Продолжать учебу в школе Фагот не стал: не хотел снова школьного занудства, зубрежек, вызовов к доске, контрольной писанины, осточертевших еще в режимном Мценске. Вместо школы он облюбовал себе механический завод, что располагался неподалеку, сразу же за Пролетарским сквером. В отделе кадров его взяли без всяких препон, тем более когда узнали, что он прежде играл в духовом оркестре. Такие люди профкому были нужны, и Фагота зачислили учеником токаря-универсала с предложением приступить к своим обязанностям хоть завтра. Под изданный приказ его провели в бухгалтерии и нежданно-негаданно тут же выдали четвертной - новыми, хрустящими пятерочками.

Фагот, выйдя за проходную в приподнятом настроении, накупил домой гостинцев: шоколадных конфет "Южная ночь" в звездной обертке, белых мятных пряников, изображавших лошадок и петушков, засахаренных маковок в клетчатых плитках, два сорта "Микад" с клюквенным и абрикосовым вареньем, словом, постарался выбрать то, чего ни он, ни Катерина, ни братья никогда в жизни не ели вволю, от души. А самой матери в подарок высмотрел фельдиперсовые чулки. Катерина поделила гостинцы всем поровну и с радостной голубизной в глазах поставила во дворе самоварчик. Чулки же, ужаснувшись их невесомой паутинности, тут же заперла в свой заветный ларец.

- Куда мне такие? - упрекнула она Фагота. - Только зря потратился. От ногтей сразу же изорвутся. Мне бы в резиночку. В самый раз. Вся таковская. А эти нехай лежат до скончания. Может, тади и нарядят к Господу явиться...

- Ты мне брось это! - повелительно осудил Фагот. - Сейчас и носи. Подумаешь невидаль!

- Да куда ж мне носить-то? У печек да котлов шлендраться?

- А мы с тобой давай в Совкино ходим. Как раз "Волгу-Волгу" показывают.

- И не выдумывай даже!

В следующую получку Фагот уже щеголял в настоящих брюках с заутюженными стрелками и задним кармашком на пуговице. А заодно постригся. Правда, стричь ему было нечего, еще не больно naroslo, даже парикмахерша развела руками. Но он, как все подростки, торопил свое время, спешил посолиднеть, покраше выглядеть и потому велел маленько поправить сзади, подрубить песики. Зато теперь от него шикарно пахло одеколоном. Пацаны завидовали этой его настырной взрослости. Серега же Махно, бывший батька всей дворни, беспрекословно уступил Фаготу эту свою предводительскую должность и даже был готов передать ему в полное распоряжение голубятню и всех своих турманов, которых любовно подбирал и сколачивал в дружную, слетавшуюся стаю. Но Фагот резонно отказался от голубей:

- Это ж надо с утра шестом махать! А мне теперь, браток, к семи на завод.

Но самое ошеломительное произошло на другой день ноябрьских праздников. Ошиваясь в Первомайском саду, гремевшем музыкой, полыхавшем кумачом, Серега и Миха со приятелями нечаянно напоролась на Фагота. Он сидел под полосатым тентом летнего павильона за белым столиком в ловком сером куропатчатом пиджаке с красным бантиком над грудным карманом - весь какой-то не такой, не виданный прежде: праздничный, сияющий, разговорчивый. Но пацанов удивил не столько сам Фагот, ни даже настоящая, наполовину отпитая бутылка пива, пузырившаяся воздушными кубиками, сколь сидевшая напротив него живая, настоящая девашка с желтой косой поверх голубого плащика. Совсем юная девашка сидела в профиль, у нее был маленький пупсиковый носик, который в момент улыбки то и дело прятался за округлую щеку. Вишенно-спелыми губами она с неторопливой праздничной усладой слизывала мороженое с витой десертной ложечки.

Почти непрерывно играла музыка, перемежавшаяся с бодрыми песнями, где-то неподалеку хлопало на ветру праздничное полотнище, и потому вовсе не было слышно, о чем весело и оживленно разговаривал Фагот со своей подружкой. А так хотелось услышать хотя бы по одному словечку: что он сказал, что она ответила... Ведь никто из них еще никогда в жизни по-человечески, по-взрослому не разговаривал с девчонками, тем более не сидел вот так рядом за белым столиком. От одного вида этого мраморного столика с пивом и вазочками с мороженым пронизывало чувство волнующего озноба, тем более - от позолоты девичьей косы.

Наконец Фагот своим оживленным взглядом запнулся о всклоченного Серегу, тотчас погас лицом и приподнялся из-за столика, поднятой рукой давая понять своей спутнице, что он на минутку. Подойдя к пацанам, Фагот сунул руку за лацкан, извлек зеленую трешку и, вручив ее Сереге, шипяще произнес:

- А ну, брысь отсюда! Подглядывать мне!

- Уж и поглядеть нельзя... - обиделся Серега.

...В том году музыка играла в Первомайском саду в последний раз. Не успели прибраться после октябрьских праздников: смотать лампочную иллюминацию, собрать в кучи опавшие листья, как после сентябрьской мобилизации в городском воздухе снова повеяло тревогой. На этот раз паленым донесло с Карельского перешейка. Как объясняли тогда, белофинский барон Маннергейм отклонил нашу справедливую просьбу несколько отодвинуть общую границу на запад, с тем чтобы обезопасить от конфликтных случайностей многолюдный Ленинград. Маннергейму вежливо разъяснили, что такую подвижку надо сделать еще и потому, что Ленинград почитается как колыбель революции, в нем собраны бесценные реликвии: стоит легендарная "Аврора", на башне броневика возвышается вдохновитель всех наших свершений товарищ Ленин. Казалось, чего бы упрямячить? Ведь все убедительно, обоснованно. Тем более что не за так просят отодвинуться: не за здорово живешь, а взамен предлагается хороший кусок в другом месте Карелии, гораздо больший, чем на перешейке. Но Маннергейм, паразит, начисто отказался говорить на эту тему. Даже третьеклашке было ясно, что Маннергеймка не прав, и в школьных туалетах его поносили во все тяжкие, а в карикатурах у подлого барона выкалывали глаза. По-хорошему - следовало бы проучить этого прохвоста. Так и не поняв, с кем имеет дело, он сам вскоре напал на наших пограничников: обстрелял заставу из орудий... Кто ж такое потерпит? Мы и не потерпели.

Ночами по городу снова понесли повестки. На этот раз уже никого не возвращали из-за мобилизационного перебора.

Тем временем по школам прошла негласная кампания: мальчишек-старшекласников по одному приглашали в кабинет, где за директорским столом сидел военный с голубыми петлицами авиатора. Он приветливо предлагал сесть, даже пододвигал папиросы, расспрашивал про учебу и вдруг задавал вопрос, не желает ли приглашенный продолжить образование в авиационном училище, где будет все так же, как и тут, лишь с добавлением некоторых технических дисциплин, но зато всем абитуриентам выдается летное обмундирование и даже портупья, что, разумеется, весьма немаловажно для молодого человека. В заключение резидент в голубых петлицах просил подумать и никому не рассказывать об этом их разговоре.

Некоторые пацаны выходили из кабинета какие-то отсутствующие, никого не узнающие, будто уже парили в заоблачной голубизне. Нам, мелкоте, тоже хотелось в летчики, но на тайные беседы нас пока не приглашали, поскольку семиклашки в сталинские соколы пока еще не требовались.

И мы, никому не нужная школьная шантрапа, на большой перемене отправлялись во двор, где в глухом его конце предавались игре в любимую стеночку по трюшнику за пядь: "выпядил" - твои три копейки, "недопядил" трюшник с тебя.

Финская кампания предполагалась тоже быстрой и необременительной, подобно Польскому походу, из которого, почти ничего не потеряв, разве что самую малость, да и то от непредвиденных случаев, личной нерасторопности или несвежей пищи, войска вернулись

бодрые и посвежевшие, с трофеями в заплечных мешках, подобранными по пути, иногда нелепыми и забавными, вроде утюга, беговых коньков, уже начатых школьных тетрадей или банки маринованных огурчиков, добытых со дна Буга, где они хранились вместо погреба.

Карельский же поход, напротив, из прогулочной кампании обернулся войной, нудной и малоуспешной.

Пока день за днем, неделя за неделей - вот уж и новый девятьсот сороковой год на дворе - добывалась та карельская перемога, создавшая в местных аптеках нехватку бинтов и марли, город изрядно поутих и потускнел, будто сам потерял сколько-то своей крови. Сложился и умотал парусиновый "шапито" вместе со своими шумными и дымными смертельными номерами. Многие месяцы собиравшую сотенную очередь "Волгу-Волгу", после которой каждый раз на улицу выплескивалась поголовно улыбающаяся толпа, заменили созвучной моменту пронзительной дзигановской трагедией "Мы из Кронштадта", пережив которую зритель замолкал и мрачно уходил в себя. С перекрестков куда-то девались павильоны с выносными столиками, витрины магазинов тоже потускнели, сократили ассортимент, а отпуск масла, столовых жиров и суповых наборов снова вернули к упорядоченному регламенту. Опять появились очереди, в которых часто случались недовольные выкрики: "Не давайте по стольку в одни руки! Куда смотрит милиция?" Иногда, озираясь, гневясь вполголоса, высказывали наболевшее: "Да что мы чикаемся с какой-то там Финляндией?! Ведь моська же! Всего четыре миллиона с детишками и старухами. Ну врезали бы как следует! Проучили бы этого ихнего Маннергейма. А иначе опять до хлебных карточек доцеремонимся".

Через финские гранитные доты и надолбы наши войска перевалили только к весне сорокового, заплатив за это одоление почти триста тысяч -но, к сожалению, не рублей, а человеческих жизней... Хотя о таких несоразмерных потерях тогда не сообщалось, было стыдно признаваться в этом перед остальным миром, но и так, без признаний, было нетрудно догадаться, сколько стоит финский лед и камень.

Вообще, в том злопамятном сороковом мы не раз принимались ультимативно помахать пороховницей. Едва вывели дивизии из-за поверженной линии Маннергейма, как тем же летом направили солдатские кирзачи в Прибалтику, где тамошние правители, заключив с нами договора о дружбе, сами же тем часом заигрывали с Германией. Сходили, освободили. Одновременно весьма удачно порешили вопрос и о румынской Бессарабии, присоединив ее после долгого и незаконного пребывания за нашими пределами. А заодно протянули руку помощи и Северной Буковине.

Историки потом напишут: "Все эти районы могли быть использованы агрессорами как плацдармы, приближающие их войска к жизненным центрам советского государства". Вроде бы все получалось. Фортуна благоволила нашим высоким замыслам.

В долгожданное, давно просчитанное утро Фагот спешил к проходной своего завода. Он проснулся в легком, приподнятом настроении, которое всегда сопутствует ожиданию каких-либо перемен. Бодрости прибавлял и морозный, хрусткий снежок, легший, должно быть, окончательно, до самой весны. Он выбелил Пролетарский скверик, который всякий раз охотно пересекал Фагот по пути на работу. Над бетонным кольцом фонтана снуло склонились засахаренные изморозью ивы. Оставшаяся на дне лужица неспущенной воды подернулась ледком оконной ясности, на котором кто-то, опередив его, уже успел оставить в легкой пороше следы мальчишеской пробежки.

Убеленные крыши окрестных домов, отражая зоревой свет, добавляли утру дополнительное и какое-то радостное сияние. Ощущение светлой утренней чистоты и собственной легкости было

столь велико, что Фагот, взойдя на ступени проходной, перед тем как открыть дверь, невольно шаркающим движением отер подошвы своих ботинок.

В профкомовском зальчике, уже заполненном народом, на возвышении за долгим красным столом сидел Ван Ваныч - местком, он же председатель квалификационной комиссии - и сама комиссия: представитель из отдела кадров по профобучению Гвоздалев, мастер цеха Ничевохин и Фаготов наставник дядь Леша. Ван Ваныч вертел перед своими утолщенными очками эту самую КС-16, которую было поручено изготовить Фаготу в порядке экзаменационного задания. Такую же деталь уже всюю точили несколько других токарей цеха, но Фагот имел с ней дело впервые. Для чего она предназначалась, он не знал, и даже наставник дядь Леша, помогавший освоить рабочий чертеж, отвечал уклончиво и неопределенно: "Я и сам не в курсе... - И, понижая голос, будто говорил одному только Фаготу, приоткрывал самую малость: - Оборонный заказ! Так что ты, парень, старайся!"

Деталь оказалась не ахти какая на первый взгляд - продолговатый фланец, но зато с двухступенчатой внутренней проточкой. В самом узком месте - всего полдюйма. Попытеть, конечно, пришлось. Две заготовки спортачил. Но потом ничего, получилось. А уже следующие пошли легко, даже приятно было добавлять подачу.

Фагота пригласили на помост. Он мазнул ладонью по непокорной макушке и, весь в трепетном смущении, не вошел на сцену как положено, по трем ступеням, а одним подскоком запрыгнул на помост перед самой комиссией.

В зале засмеялись.

От Ван Ваныча поделка перешла в руки кадровика Гвоздалева, который даже взглянул через патрубков на свет в окошке. После мастера цеха деталь принял дядь Леша, но рассматривать ее не стал и первым высказался по существу вопроса:

- Ну чево? Резцом парень владеет. Прогоны чистые. Точность - по нулям. Такая тут и не требуется. А он, вишь, постарался: довел до классности. Я бы сделал не лучше...

- Владеет так владеет, - согласился Ван Ваныч. - Так и запишем. На третий разряд все согласны? Нам сейчас каждая пара рук дорога.

- Да чего там! Вполне заслуживает... По работе видно.

Ван Ваныч через стол вручил Фаготу свидетельство о присвоении ему разряда, крепко, отечески пожал руку, и, когда тот, на ходу пряча заветную зеленокорую книжицу, собрался было спуститься в зал, председатель комиссии окликнул вдогон:

- Погоди, еще не все. На вот... Это - мера всей твоей жизни. - И вложил в ладонь Фагота новенький, ясно блеснувший штангель.

Потом, в коридоре, Ван Ваныч зазвал Фагота в свой кабинет и, обняв его за плечи, обдавая упаристым теплом подмышки, заговорил:

- А насчет твоей дудки, про которую ты все спрашиваешь... Гобой, кажись?

- Да нет, фагот.

- Ну, теперь все едино. Ты пока с этим не докучай. Не до свистелок нам теперь. Вишь, что в мире творится. Гитлер целую Францию заглотил. Кто знает, куда он дальше направится? Благо

бы - на Англию. Там до нее совсем близко. А мы тем моментом подготовились бы, как следует изгородились... Хорошо, что успели Западную Украину с Белоруссией освободить. Вон ведь куда граница ушла! - Ван Ваныч ребром ладони широко махнул по сукну столешницы, показывая пареньку, как далеко отодвинулась граница. - А фагот тебе еще будет - куда он денется?

Та большая война ворвалась внезапно и сокрушительно. Она враз опрокинула на своем пути все эти территориальные нагромождения, как пустые тарные коробки. Что и говорить, удар был ошеломляющий, будто рубанули между глаз свинцовым кистенем. У нашего буденно-ворошиловского командования мигом померкло в очах, зашумело под маршалскими папахами, так что от Черного до Балтийского моря дыбом встали роковые вопросы "что делать?" и "кто виноват?".

Уже через неделю танковые клинья Гудериана вышли к Днепру.

Но так бывает: даже смертельно опасную травму пострадавший воспринимает не сразу, а на первых порах не ощущает самой боли и пытается вести себя по-прежнему, будто с ним ничего не произошло.

Так и с целыми странами, особенно с такими обширными, как наша.

Нечто подобное произошло и с нашим городом. Даже суровое, проникновенное обращение Молотова не вывело людей из нежелания верить тому, что произошло. По крайней мере внешне многое еще делалось так, как свершалось и день, и два, и неделю назад.

Как всегда, в привычном узнаваемом тембре прогудели заводские гудки; неподалеку, на Дзержинской, перезванивались трамваи с утренним рабочим людом; по прибазарным улицам скорым бежком торговли на коромыслах несли огородную снедь: вымытые бликующие огурчики, пучки перьяного лука, гроздья нежно-розовой, совсем юной редьки, штабельки перевязанного укропа, оставлявшего после себя долгий шлейф аромата.

Возле Троицкой церкви, по давнему обычаю, поди, с тех пор, как на крутояре возвысился этот храм, приходские пастухи, сменяя друг друга, подудывая на рожках, из века в век со смежных улиц скликали стадо. В это утро оно, сонно мычащее, поредевшее, изживаемое временем, под чириканье касаток продолжало сходиться перед белой умолкнувшей звонницей...

Жизнь шла своим привычным чередом: еще никто не торопился рыть оборонительные окопы или выносить из школ ученические парты, чтобы заменить их железными госпитальными койками.

Сергея проснулся в своем сарайчике, где под лестницей в голубятню он приладил себе полочку для спанья. Дощатая стенка уже лучезарно полосатилась щелями от взошедшего солнца. В прогретой голубятне нетерпеливо урчали голуби в ожидании еды и воли. Сергей зачерпнул корец проса и, поднявшись по ступеням, плеснул бегучего зерна в продолговатый лоток. Обдавая маховым посвистывающим ветром, птицы шумно кинулись к лотку. Когда голуби насытились, он выцелил своего любимца по кличке Белое перо, придержал в горсти концы его обоих крыльев, а для остальных голубей отворил косую планчатую решетку. Турмачи повалили на свет, от нетерпения все так же суетясь и толкаясь. Пойманный Белое Перо ущипнул Сергея за палец, но, доверяясь добрым рукам хозяина, успокоился и перестал вздергивать плечиками. При каждом встряхивании он покорно распускал веером свой упругий хвост, обнажая среди аспидно-серых перьев единственное белое перо, делившее веер почти на равные половины. Взмелькивание этой белой вставки всякий раз приводило Сергея в счастливое изумление.

Наличие белого пера в хвосте считалось в голубином мире высшим шиком, а сама птица составляла изрядную ценность.

- Ну что, покажем класс? - влюбленно сказал Серега, прижимая головку птицы к своей щеке.

Середь двора, по-прежнему придерживая концы крыльев, он во весь мах, как бросают мяч при игре в лапту, запулил жоака строго над собой. Тот как мог дольше протянул свой бескрылый лет и, когда иссякла инерция заброса, очутившись выше всех окрестных крыш, резко выбросил оба крыла. Голубь тут же принялся набирать высоту, громко, азартно хлопая концевыми перьями, как бы приглашая остальных следовать за ним.

Оставшиеся на голубятне турмачи принялись было крутиться возле голубок, и Серега поднял всех на крыло сначала шестом с тряпичным мотовилом, а потом и забористым свистом в два пальца. Стая, выстроившись полукружьем, начала набирать высоту, слаженно, в одном ритме взмахивая крыльями.

Заслышав свист, во двор набрели и остальные закоперщики: Миха-братан, Николка и Петрик Трубаровы, двое с соседнего подворья и Пыхтя из дома через дорогу.

Ребята, наблюдая за голубями, разлеглись на кучерявой спорышевой муравке. Уже через полчаса стая дружно взмелькивала под самыми облаками, что порознь, белыми громадами, с лентой тянули к северу. Отсюда, с дворового пустыря, на белом лучше выделялись темноперые турмачи, на синих просветах белокрылые птицы были заметнее.

Заспорили о погоде. Толстяк Пыхтя уверял, что такой денек с просинью в облаках больше нравится голубям: летать не жарко, приглашенное солнце не слепит, не мешает среди множества крыш и дворов видеть свою голубятню.

- Ну да, сказал! - не согласился Серега. - Наоборот, турман не любит летать под тучками. Всегда старается сбросить лишнюю высоту.

- А чего ему сбрасывать-то?

- Сапсана остерегаются. Когда небо ясное, турману вокруг себя все видно. Тогда он и летает в свое удовольствие. А за тучками сапсан может подобраться. От него летом не уйдешь: только камнем вниз. Бывает, голубь вовремя не вырлится и насмерть бьется о землю.

Ребята приумолкли: послышался отдаленный невнятный рокот.

- Гром, что ли? - предположил Пыхтя.

- Вроде не должно. Небо не грозовое. Если быть грозе - голубя с крыши не сгонишь, - авторитетно успокоил Серега.

Рокот быстро нарастал. Уже улавливались его глуховатые перепады, и, пока пацаны пытались определить, что это такое, из встрепанного верховыми ветрами одинокого облака вдруг вырвался самолет и несколько мгновений летел открыто, на виду у всего распростершегося под ним города. Он летел чуть в стороне и не так высоко, не выше пятисот метров, как раз на уровне Серегиной стаи, так что был четко виден весь его прогонистый профиль.

От внезапности и явной чужести самолета ребята вскочили с земли, и, хотя бомбардировщик виделся всего несколько секунд, прежде чем снова нырнуть во встречное облако, многим удалось разглядеть и запомнить его приметы. Был он странно окрашен в желтое и зеленое, что

придавало ему сходство с летящей рептилией. Оба моторных капота были далеко выдвинуты вперед, между ними помещалась лобастая и взгорбленная пилотская кабина, за стеклами которой кто-то из ребят даже разглядел будто бы самих летчиков.

Вид у самолета был какой-то устрашающий. Наверное, конструкторы заботились не только о том, чтобы он летал, но и угнетал своим обликом все живое, попавшее под узкие сапсаньи крылья.

Но больше всего поразила и ужаснула главная его примета: на долгом фюзеляже, ближе к хвостовым рулям, отчетливо проступал черный крест, отороченный белым кантом. Нанизывая на себя облака, то исчезая в их рыхлой белизне, то снова выныривая на солнце, самолет облетел всю городскую пристанционную округу, потом, сделав разворот, еще раз промелькнул своим желтым ящерным брюхом в самый раз, через то место, где все еще трепетала стая Серегиных голубей. Он не строчил из пулеметов, не бросал бомбы, но и в него тоже не стреляли, не поднимали истребителей, которых, по правде, тогда на наших коровьих лугах еще и не было из-за нехватки таковых или неглавности направления.

Чужак летал молча, безнаказанно вглядываясь в настешь распахнутое бытие города, его враждебное присутствие в небе, наверное, впервые дало всем видевшим эти черные кресты леденящее ощущение реальной и близкой войны.

В тот день из четырех пар голубей домой вернулись только две. Турмачи опускались на конек голубятни порознь. Последней была голубка Лыска, напарница Белого Пера. Она объявилась перед самым закатом, вся еще перепуганная, недоверчиво озирающаяся. Когда Лыска, уже потемну, наконец переступила порог летка, Серега не стал запирать голубятню, оставил планчатый рештак распахнутым. Но Белое Перо так и не вернулся - ни в этот вечер, ни с восходом нового дня...

В конце августа с той, военной стороны через город зачастили товарняки с демонтированным заводским добром. В тесовых обивках под брезентовыми пологам и просто под навалами древесных веток везли снятые с крепежа станки, целые узлы разобранных агрегатов, какие-то фермы, занимавшие сразу несколько платформ. Среди этого груза во всевозможных щелях и пустотах скопились беженцы, которых называли странным и труднопроизносимым словом "эвакуированные". Из-за плохой проходимости дороги многие эшелоны опасно задерживались на запасных путях, и тогда "эвакуированные" разбрелись по станции и прилегающим улицам в поисках туалетов, кипятка и какой-либо еды. А возле недвижимого поезда собирался самопроизвольный базарчик, где местные бабульки и пацаны выменивали всяческие вещички на неказистую снедь. Особенно выгодно шла мена с беглыми евреями, пробиравшимися в глубь страны многодетными семьями аж из самой Польши, из ее восточных городков и местечек, оставленных нашими войсками.

Среди прочих беженцев они выделялись хорошо пошитой одеждой, но были изнурены дальней дорогой, суматохой пересадок, налетами вражеской авиации. Никто их специально не эвакуировал, не заносил в списки, не выделял мест в поездах - они были сами по себе. У них всегда можно было разжиться чем-либо из заманчивого польского шмутья и обихода. Пацаны чаще всего выменивали непривычное заграничное курево. Особенно в ходу были длинные табачные палочки с коротким мундштучком под названием "Фемина", на коробке изображалась огненная красotka с папирской в слепяще-белых зубах. Петрик разжился перочинным ножичком со множеством причиндалов, а Пыхтя на ведро ночью выкопанной чужой картошки выменял, например, шикарно хлопающий портсигар с оттиском на крышке какого-то позолоченного лысого дядьки, в котором Фагот предположил папу римского.

Вскоре, однако, поток беженцев внезапно прекратился, будто у этого потока где-то перекрыли вентиль. Это означало, что долго и беззаветно обороняющийся Киев все-таки пал... От раненых бойцов, успевших вырваться из киевского окружения, пошли слухи, будто впереди теперь нет никакого фронта и что в нашей обороне образовалась дыра километров на двести, куда вот-вот устремятся фашистские танки.

Становилось ясно, что надвигалась неотвратимая драма в судьбе нашего незащищенного города. И коли не было штыков - он оцетинился лопатами. Они зазвякали и засверкали возле школ, у дверей учреждений и заводских ворот. За город, на окрестные холмы и высоты, двинулись сотенные колонны оборонокопателей. Кроме лопат, рекомендовалось также запастись носилки для перемещения грунта, кирпичи для рыхления слежалых глин и корчевки древесных корней, ведра для приготовления горячей пищи, клеенки от непогоды, а главное - бодрость духа и веру в окончательную победу.

Одновременно сколачивались отряды гражданского ополчения. Фагота зачислили в истребительный отряд из двенадцати человек во главе с присланным выздоравливающим младшим лейтенантом Зайнуллиным. Он все еще припадал на раненую ногу, но за командование отделением взялся неотложно и с бодрой требовательностью. В обязанности отряда вменялось охранять производственную территорию, выслеживать лазутчиков и диверсантов, а также привести в действие взрывные устройства под заводскими объектами, о которых пока никто не должен знать.

По вечерам отряд собирали в сквере для прохождения боевой подготовки. После построения и списочной переключки Зайнуллин попарно направлял отряд по внутреннему периметру сквера, после чего принимался за боевые приемы, заставляя курсантов деревянной винтовкой, вытесанной в заводской столярке, колоть мешок с соломой или же бросать на дальность и точность металлическую болванку. Настоящее оружие выдавать не спешили, как объяснил Зайнуллин, до особого распоряжения.

- Будет надо, тогда и дадут.

- А если и взаправду диверсант? - дознавался Фагот. - А у меня сосновая деревяшка?

- Разговорчики! - оборвал младший лейтенант. - Ты сперва этой научись, понимаешь. - Оружие, может, в другом месте нужнее. Столицу, понимаешь, надо защищать...

Винтовки все-таки в отряд привезли. Зайнуллин распределил их поименно: против каждой фамилии проставил номер оружия и дал расписаться. Фаготу и еще одному пацану из литейки, Федьке Чухову, расписаться не дали, потому что в ящике оказалось всего десять винтовок, а бойцов в отряде было двенадцать.

- А мы как же? - обиделся за двоих Фагот.

- Что ты, понимаешь, все качаешь?! - вспыхнул Зайнуллин. - Ну нету, нету пока. Поступят - и вы получите. Это тебе не дров напилить... Давай я одну винтовку на вас двоих запишу.

- Не надо! - отказался Фагот. - Я свою хочу.

- Ну, тогда жди.

После этого разговора с Зайнуллиным обиженный Фагот перестал ночевать дома, коротая глухую темень в цеху на ворохе обтирочного тряпья. Он выжидал, пока все разойдется, а вахтеры запретят проходную на засов, запускал свой бесшумный токарный станок и, посвечивая

себе притененной переноской, принимался мастерить задуманное. Сперва он пытался изготовить обрез под винтовочный патрон. Но эта штукавина требовала сложной фрезеровки, а старик фрезеровщик, закончив смену, запирает инструмент в заначной печурке, открыть которую Фагот не сумел, хотя и перепробовал всякие исхитренные отмычки. А просить Кузьмича выстрогать ему заготовку затвора, которую он потом напильником довел бы до ума, так и не решился: побоялся, что Кузьмич станет допытываться, пошто да к чему, а дознавшись, ехидно высмеет его затею. Он умел так сощуриться, так покачать головой в замасленной камилавке, так потрогать лоб заказчика, что сразу убеждал в напрасности и никчемности замысла. Вместо неполучившейся Фагот из полудюймового гаечного прута вырезал новую ствольную заготовку, оставив нетронутыми все шесть граней. Так гляделось внушительней и убойней. Долгим наварным сверлом он прошел в граненом отрезке ствольный семимиллиметровый канал, но не насквозь, а в конце оставил хороший надежный цеяк. У дна просверленного хода, там, где начиналась торцевая заглушка, он надфелем пропилил запальник, после чего тонко заправленным пробойничком протюкал в этом месте пороховой ход. Оставалось вытесать деревянное цевье, что он и сделал из круто изогнутого кленового корневища.

Получился отличный самопал, походивший на старинный пистоль.

Грянула первая военная осень. Октябрь пришел без милостей, без золотого листопада. По неубранным полям с остатками колхозной техники едкий сиверко кувырчал бесприютные жухлые листья. Сеялся непроглядный и нещадный дождец, обративший сельские немощные дороги в безысходную погибель.

Наступать стало немцу в убыток, но и нам обороняться - тоже не доход. Однако немцу поделом: он позарился на чужое, а вокруг нас все нашенское, святое.

В траншеях и противотанковых рвах, опоясавших дальние и ближние подступы, почти без сна и роздыха под вражескими налетами выкопанных, высеченных и вырубленных в иссохших глинах и обнаженных мергелях тысячными усилиями горожан, теперь, с ненастьем, хлюпала мутная жижа и начали оседать и рушиться насыревшие стенки накопанного. Но регулярные войска что-то не спешили занимать приготовленные для них оборонительные рубежи. Лишь разрозненные ватажки ополченцев, которые потом назовут полками, перемогались под дождем в окопных канавах с одними только винтовками и зажигательными бутылками, да еще, может, двумя-тремя станкачами. Их самоотверженную отвагу не собиралась поддерживать армейская артиллерия, которой почему-то вовсе не оказалось в распоряжении гарнизонного начальника. Ну а как же обороняться без артиллерии? Не одними же винтовочными пшикалками да огородными лопатами?!

А враг тем временем приближался. Уже был взят город Льгов, что всего в полутора часах езды на машине. Несмотря на осенние хляби, опоясывая полукружием, будто заводя огромный невод, в нашу сторону двигался 48-й танковый корпус, поддержанный дивизиями 34-го армейского кулака, а на Фатеж, что вообще в пятидесяти верстах, нацелилась 9-я танковая дивизия.

У озябших, промокших ополченцев оставалась надежда на 13-ю армию, которая, будучи сама в окружении, вела ожесточенные бои совсем близко от Курска - в соседних брянских лесах. Верилось, что еще одно усилие - и она наконец вырвется на свободу. Но уповали на нее напрасно. Из свидетельства члена военного совета армии генерала Козлова: "После неимоверно трудного марша в условиях холодной осени промокшие, истощенные от недоедания, ведя бои днем и ночью, причем далеко не всегда ясно представляя, где находится противник - впереди, справа или слева, воины 13-й армии... вышли... из окружения в составе 10

тысяч человек". Уцелевший отряд был лишен техники, транспорта, боезапаса и продовольствия.

"После всестороннего анализа сложившейся обстановки (нескончаемый дождь со снегом, непроходимое бездорожье, полное отсутствие горючего, налеты авиации, вылазки противника), - вспоминает далее генерал Козлов, - военный совет армии 17 октября принял трудное для себя решение: уничтожить автотранспорт и другое имущество, сковывавшее маневры армейских подразделений. Моторы автомобилей простреливались бронебойными пулями, а сами машины пускались под откос в глубокий овраг. Артиллеристы гаубичного полка, выпустив все снаряды по скоплению противника, последним выстрелом приводили орудия в негодность, в канал ствола насыпая песок".

В таком виде армия заняла рубеж Фатеж-Макаровка, выполнив свою главную задачу: вырваться из лап фашистов. Но оказать помощь Курску она уже не могла и сама нуждалась в пополнении, техническом обеспечении и просто физическом и моральном восстановлении.

Вместо нее на курские рубежи направили 2-ю гвардейскую дивизию, которая сама только что с большими потерями вырвалась из окружения и, следовательно, не имела полного личного состава и необходимого вооружения. Ею просто жертвовали, бросая на растерзание во много раз превосходящему противнику.

Судьба этой дивизии, как и самого города, была решена в пятиминутном телефонном разговоре Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина с первым секретарем Курского обкома партии П.И. Дорониным:

"Доронин. Обстановка под Курском тревожная. По данным разведки, на город наступают три фашистские дивизии. Оборону Курска ведут 2-я гвардейская дивизия и бойцы народного ополчения, вооруженные в основном стрелковым оружием. (Доронин умолчал, что не каждый ополченец имел винтовку, а многие вышли за город с охотничьими ружьями и бутылками с горючей смесью. Вторая же гвардейская "дивизия" тоже выступила налегке, без минометов и артиллерии, которых у нее попросту не было.)

Сталин. Под Москвой тоже сложилась исключительно тяжелая обстановка. Необходимо, товарищ Доронин, усилить сопротивление врагу, укрепить полки 2-й гвардейской дивизии за счет коммунистов и комсомольцев. Силами народного ополчения необходимо прикрыть отход дивизий Красной Армии на новые боевые рубежи".

На другой день приказ Главнокомандующего не тратить боеспособные войска на защиту Курска был действительно получен по секретной связи, и в ночь на 27 октября, то есть за пять дней до появления противника у городских стен, части гарнизона покинули места своего расположения. Вместе с ними оставило город и перебралось пока в авиагородок и все областное руководство, прихватив с собой работников кухни и буфета: не сидеть же у костра и не варить в ведерке гороховый похлебанец?..

Когда стало ясно, что ждать помощи неоткуда, было отдано еще одно страшное распоряжение: город поджечь, все стратегически важное взорвать! Но рубежей не покидать, а продолжать до последнего противостоять немецкому наступлению.

И взрывники принялись за работу.

Умерщвление города во многом похоже на насильственную многострадальную смерть человека. Тут и там в небо вскидывались пыльные кирпичные выбросы. От ударных волн, льдисто звеня, сыпались и разлетались оконные стекла. Рухнули в воду искореженные фермы и

опоры железнодорожных и шоссейных мостов. Потрясали землю и воздух тротилловые закладки под силовыми установками, трансформаторами и столбами электропередач. Взлетевший на воздух соляной склад на улице Радищева запорошил солью двory и крыши окружавших его домов. В центре занялись пылким служебные здания и магазины, гудящий огонь выедал до кирпича мудрые кабинеты горкома ВКП(б). Дымные мебельные языки пламени, роняя на мостовую хлопья полыхающих штор гостиничных номеров, где некогда останавливались Горький и Маяковский, вырывались из карминно раскаленных и потрескавшихся рам наружу и жадно объедали ветви близких лип и вязов. К гигантскому всеобщему костру присоединились пожары на мельницах и крупорушках, на фабриках и лесных биржах, на больших и малых складах и продовольственных базах. Было обито керосином и подожжено зерно на многокорпусном хлебном элеваторе. Особенно зловеще и смрадно, застыла полнеба округлыми клубами, полыхала нефтебаза, время от времени выфыркивая из этих черных клубов багровые вспышки взрывающихся газов. Смешавшееся воедино общее полотнище дыма тяжело пласталось над сырой осенней землей на многие километры за горизонт, укрывая собой уходящие на восток войска и навьюченные вереницы машин, покинувших авиагородок... Каждый день в дымном небе появлялся наш СУ-2, одномоторный бомбач, он же разведчик. Самолетик туда-сюда пролетал над городом, видимо, наблюдал и фиксировал на пленку, что и где горит и хорошо ли занялось.

Осада города началась вовсе не так, как представлялось пацанам, уличным гаврошам, которые уже изготовились к многодневному планомерному обстрелу из орудий и минометов, свирепым налетам пикировщиков, перемежавшихся с волнами атакующих пехотных цепей. Все оказалось как-то буднично и неинтересно.

В этот день Фагот вместе с несколькими членами отряда заводской обороны продолжали демонтировать и приводить в негодность оборудование цехов. Посередине двора горел большой костер, куда бросали папки с чертежами многолетних заказов, снятые со станков электромоторы, бухты запасной высоковольтной проводки, пластмассовые переключатели, промасленную обтирку, чтобы костер не гас, не ленился трудиться. Пламя каждый раз меняло свою окраску, в зависимости от того, что в него было брошено. Дым то серел и шипел от чего-то малогорючего, то начинал закручиваться в бурые завихрения. Из столовой уборщица баба Паша приперла целый столб вложенных одна в другую алюминиевых мисок. Она собиралась было бросить их тоже в огонь, чтобы оплавилась и пришла в негодность, но ей не дали это сделать, чтобы не замедлять горение, а вручили лом, которым она принялась долбить посудины, азартно приговаривая, должно быть, адресуясь к вражеским солдатам: "Вот вам! Вот вам! Натe, ешьте теперя!.."

Заводской дым смешивался с уличными дымами, было тяжело дышать, слезились глаза, першило в горле, и Фагот время от времени выбегал за ворота, чтобы отдышаться и одновременно послушать, что делалось там, на передовой. Но за воротами было так же дымно и непроглядно, особенно от пожаров на близкой городской товарной станции, питавшейся специальной железнодорожной веткой. Со стороны Московских шпилей и Казацкой слободы доносились нестройные, разрозненные, как бы лишенные злобы винтовочные хлопья, которые потом надолго затихали, и было не понять, кто куда стрелял и кто куда девался.

Помимо территориальной обороны, куда входил Фагот, на заводе сколотили еще и ополченческий отряд, комиссарить в котором райком назначил кадровика по фэзэшке Гвоздалева. У Зайнуллина закончился срок пребывания на излечении, и его тоже куда-то забрали, а руководство дворовым отрядом передали дядь Леше, недавнему Фаготову наставнику.

Отряд Гвоздалева, состоявший из восемнадцати добровольцев, занял оборону на северной

окраине, где-то возле трепельного поселка, и теперь оставшиеся тут волновались и переживали: "Как там наши?"

Но уже под вечер Гвоздалев неожиданно объявился в заводском дворе. На его груди на шейной петле висела забинтованная рука с алым подтеком выше кисти. Но сам он по виду нисколько не унывал и находился в приподнятом и даже в каком-то радостном возбуждении.

- А-а, пустяк! - усмехнулся он, когда баба Паша, глядя на повязку, принялась сердобольно квохтать и страшиться глазами. - Малость зацепило! Зато мы ему дали как следует! Век будет помнить!

- Ты, голубь, присядь, отдохни! - тоже радостно засуетилась баба Паша, поддвигая к кострищу резной дубовый главбуховский стул, вынесенный на сожжение. - Небось от самого трепельного пешком шел?

- А на чем же? Трамваи уже не ходят.

- Тади садись, рассказывай, как и что было. Какие они хоть, немцы эти? Больно страховитые?

- Да обыкновенные, бить можно.

- И как же вы?

- Ну, притопываем себе в окопчиках. Холодноовато, конечно. С самого вечера ждем незваных. Огня, как тут у вас, не распалишь: передовая. Часу в восьмом развиднелось. Глядим: на шоссе мотоциклы с колясками тыркают. Штук пять, а то и больше: не очень было видать. И все немцами облеплены. Поставили мотоциклы под деревья, а сами рассыпались цепочкой и - к нам, сюда, на поселок. У каждого на шее автомат, на голове каска: лиц не видать. Идут, негромко переговариваются. Офицер молча делает рукой какие-то знаки.

- Страхи-то какие! - баба Паша обжала щеки ладошками.

- Кто-то из наших возьми и пальни. Другие тоже начали стрелять. Надо было подпустить поближе. А они не утерпели... Первый раз воют.

- Дак и ты впервой!

- Я тоже... Но я хоть "звездочку" в лагере водил... А все равно удачно получилось, немцы залегли, а потом вскочили и бежать. Один захромал. Посели на свои мотоциклы и драпанули с шоссе куда-то направо. Наверное, поехали искать, где место послабее. Наши аж "ура!" закричали: так мы им врезали!

- А тебя как же поранило-то?

- Да это с мотоцикла из пулемета прострочили, вроде как на прощанье. Меня вот в руку, а одного нашего насовсем. Васина из литейки.

- Олешку? - ужаснулась баба Паша и опять обжала щеки ладошками.

- Ну он, он. Обещался родным сообщить. Пойду вот схожу. Решили там и похоронить.

- Да уж на кладбище бы, по-хорошему!

- Тоже скажешь: до Никитского вон сколько! Как понесешь? Это же гроб надо. Да человек

восемь с передовой снимать, чтоб напеременки нести. А теперь каждый человек на счету: вдруг опять полезут? Дак они и полезли! После обеда на шоссе танки показались. Штук десять. Хорошо, что с насыпи свернули, видать, пошли на Знаменку. Мы потом в той стороне сильный бой слышали. Конечно, тоже не прошли, наверняка понюхали кукиш.

Гвоздалев здоровой рукой попялся за пазуху, достал вчетверо сложенную бумагу.

- Натe вот, почитайте... Совсем свежая. Нарочный оттуда принес...

Это оказался "Боевой листок" за первое ноября, написанный от руки на типографской заготовке. Листок взял дядь Леша и, морщась от дыма, стал читать всем:

- "Отважно сражался истребитель танков Дзержинского полка комсомолец Вячеслав Звягинцев. Он погиб, но не пропустил на своем участке танков".

- Гляди-ко! Молодец-то какой! - похвалила баба Паша и тут же пожалела: - А погиб пошто?

- Погиб - зато не пропустил! - разъяснил Гвоздалев. - Теперь это важнее всего.

- Погиб - стало быть, пропустил... - жестко возразил дядь Леша и вернул листовку Гвоздалеву.

- А вот, Андреич, ответь мне, старой, по всей правде, - допытывалась баба Паша, пытаясь заглянуть в глаза Гвоздалеву.

- Чего говорить-то? - насторожился тот.

- Удержите немца али побежите? Скажи, как на духу...

- Да ты что? - снова расслабился лицом Гвоздалев и даже облегченно заулыбался. - Ну ты, баб Паша, даешь! Такое говоришь! Честное слово...

- А чево?

- Так и думать-то нельзя! Как это - "побежите"? Какое мы имеем право?

- Ежли про это и думать нельзя, то пошто все палите да взрываете?

- А чтоб им не досталось!

- А тади опять - пошто горелое да порушенное защищаете? Вон хлеб керосином облили и подожгли. Стало быть, оставаться не собираетесь.

- Таков закон войны. Чтоб врага не кормить. Иначе нельзя.

- А народ чево есть будет? А дети малые?

- По закону войны народ перед лицом нашествия уходить обязан. Ибо сказано: кто не с нами, тот наш враг.

- Куда ж мне за вами бежать: у меня и ноги-то в ботинки не лезут...

- Да не ерепенься ты! - посоветовал Гвоздалев. - И не болтай лишнего...

- Чего уж тут лишку? Вон народ все тащит. На кожзаводе мокрые вонючие кожи - на драку, на

взорванном соляном складе соленую землю, соленую щебенку нарасхват... Стало быть, больше не верят писаному да говоренному. А я, дура, все сижу, все на что-то надеюсь... Надо хоть этот стул домой снести: буду помнить Ефремыча, как мы у него на облигации подписывались.

- А насчет немца - не пустим! Не пустим! - Гвоздалев примирительно и весело похлопал бабу Пашу по спине. - Когда шел сюда - центральная улица вся в баррикадах! Люди ничего не жалеют для этого...

Завод не работал: расплавленно не светился окнами в ночи, знакомым, с бархатной хрипотцой, каким-то фаготовым голосом не звал к станкам - молчал и не дышал уже несколько дней, с той поры, как сделала свой последний выдох котельная, демонтировали и куда-то увезли силовые трансформаторы. Тогда же вывесили приказ о роспуске коллектива, за исключением охраны, из которой несколько человек отдали в ополчение. Фагот тоже порывался, но его оставили в заводском охранном наряде, поскольку, к огорчению, так и не получил своей винтовки.

В конце приказа крупно, заглавно было напечатано на машинке: "Спасибо за работу, товарищи!" Каждому в последний раз переступавшему порог проходной давняя, потомственная вахтерша Афанасьевна возвращала личный жестяной номерок - на память, чем окончательно ввергала людей в щемящее чувство. Некоторые пускались обнимать Афанасьевну, осыпать прощальными поцелуями, задавая почти один и тот же вопрос, будто вахтерша заведомо знала, что ответить:

- Неужто больше не вернемся?..

Женщины из цехов, а больше из отделов управления уносили с собой оконные цветы. Не чужа беды, зеленые любимцы продолжали цвести как ни в чем не бывало, особенно доверчивые гераньки, источавшие свой уютный, примиряющий запах.

Но и после приказа в цехах и на территории вроде ненароком все еще появлялись люди, наверное, из тех, кто не сумел сразу отбросить напрочь привычное. Многие помогали строить баррикаду, прикрывавшую подступ к проходной со стороны тыльной улицы Карла Либкнехта, название которой кто-то тайно вымарал на всех домах.

В основу баррикады легло спиленное на углу дерево. Его растопыренные ветви принялись забрасывать всяким заводским хламом: порожней тарой, карбидными бочками, кухонными столами и столовскими табуретками, в литейке разобрали торцовый пол, наковыряли толстых кряжей и на тачке свезли в ту же кучу, туда же бросили и самое тачку. Все это засыпали токарной стружкой, которой порядком накопилось на заводском задворье. Получилось что надо: высоко и внушительно.

- Ну, наварнакали! - оценил наведавшийся старый фрезеровщик Кузьмич, завсегда зривший против шерсти. - Что твой торт!

- А чего не по-твоему? - поинтересовался Ван Ваныч - местком, тоже оказавшийся здесь якобы по делу.

- Эта ваша городьба ни одной пули не задержит. Потому как внутри пустая. А надо бы класть мешки с песочком.

- Да где ж мешки взять-то? - Ван Ваныч запачканной рукой поддернул разношенные очки. - Да и песок тоже?

- Тогда нечего и затеваться...

- Ну как же - была разрядка...

- Разрядка... - ехидно усмехнулся Кузьмич.

- Ладно тебе, - как всегда и всех, примирительно похлопал Кузьмича по плечу Ван Ваныч. - И так сойдет. Немец с ходу не перелезет - тоже дай сюда.

- А ты чего тут? - поинтересовался Кузьмич. - Все руководить тянет? Еще не наводился руками? Твои приятели-рукомахатели уже небось за Щигры утрепали?

- Еще успею...

- А то гляди, попадешь, карась, в ихнюю вершу - не поздоровится. За Дальними парками уже стреляют...

- Да вот вспомнил: в кабинете карту с флажками забыл снять.

- Места последних боев проставлял?

- Было интересно, где и что. А теперь не надо, чтоб карта осталась висеть. Да еще с флажками...

- Ну еще бы: такой позорище! Флажки-то в нашу кровь мокнутые!

- Хотел позвонить, да забыл, что телефон больше не работает. Пришлось самому.... А ты по какому делу?

- Я, Ваня, не по бумажной надобности. Парок-то из котлов выпустили, манометры свинтили, водомеры побили, а про гудок забыли. Пойду, думаю, сниму. Не хочу, чтоб немцу достался. Вот не хочу - и все! Конечно, можно и его сничтожить: молотком по свистку жажнул - и делу конец. А не могу я так как по-живому. Я по этому гудку полжизни деньки считал... Вот ключи взял, пойду свинчу да заберу домой. А вдруг опять понадобится?..

Ночью, пока окрест было тихо, Фагот отпросился сбежать домой, на всякий случай попрощаться с матерью: не исключалось, что вот-вот и его охранный отряд вступит в бой. Катерина бессловесно всплеснула руками, когда он появился на пороге незапертой двери в свете тоскливо мерцавшего ночника. Она ткнулась лицом в его телогрейку и только теперь подала свой тихий, на краю шелеста, голос:

- Дымом пахнешь...

- Да вот палим... А где братья?

- Те все по городу шарятся. Вчера Серега где-то полмешка проса раздобыл: голубей кормить. Говорю: будет ли тебе с голубями вожжаться война кругом. А он, упрямец: голубям тоже есть надо, они в войне не виноваты... У нас тут наверху дедушка живет, без одной ноги. Сам-то он на землю не спускается, потому, может, ты его ни разу и не видел. Он все больше в окно глядит. А зиму, от Покрова до Пасхи, сидит взаперти. Так у этого дедушки есть самодельная коляска на четырех катках. Серега выпросил эту каталку и вот, как смерклося, укатил с ней куда-то... Говорил, будто на швейной фабрике народ машинки курочит, дескать, если успеет, то он одну привезет... А Михаил - тот себе шарится: вчерась картузом рокса разжился. Может, помнишь такие конфетки: рисунок насквозь виден. Где ни откусишь - там опять эта ж картинка: грибок или вишенка... А еще карманы конфетных оберток набрал: теперь из них фантики заламывает -

с ребятами в кон играть. Так, ветер в голове... А вот не удержишь! Все на чужом помешались. Пусть бы одни дети, по недомыслию, а то и взрослые туда же: магазины бьют, аптеки растаскивают, пуговицы и те сумками волокут... А кто остановит натуру, дорвавшуюся до греха?! Властей нетути, милиция разбежалась. Серега говорит, будто по Дзержинской ветер вместе с конторскими бумажками тройки да пятерки носит... Люди гоняются, друг у друга отнимают... А у меня вся душа выболела: где их, непутевых, носит?.. Дак за чужое и подстрелить могут...

- Ладно, мать, отыщутся. Есть захочется - прибегут.

- Ты, может, тоже поешь? Я щей наварила.

- Да некогда мне! - Фагот озабоченно взглянул на ходики.

- Я моментом! - засуетилась Катерина возле примуса. - Там у вас теперь и вовсе ни крохи. Вон как обрезался.

- Да пока обходимся. Мукой разжились. Лепешки печем, чай кипятим.

Катерина налила тарелку горячих щей, возле положила ложку и несколько вареных картофелин - вместо хлеба.

- А-а! - не устояв, крикнул Фагот и, сбросив телогрейку, подсел к манящему вареву.

Щи, несмотря на их жаркость, он выхлебал с поспешностью бродяги. Катерина не дала ему отодвинуть тарелку и подлила еще. И пока он вычерпывал добавку, она, созерцая торопливую еду, тихо радовалась этой его жадности.

Собиралась налить еще и чаю, но он, отстранив тарелку, сложил руки на краю стола и хмельно, отрешенно уронил на них голову. Катерина хотела было перенести сына на топчан, даже просунула руки под мышки, но поднять не смогла, а только нащупала на крестце под рубахой что-то жесткое, непривычное. Она бережно высвободила из-за его пояса незнакомый предмет и, поднеся его к ночнику, поняла, что это что-то военное, стреляющее.

...Фагот очнулся, когда за окном начало сереть.

- Что ж это я? - испугался он и, увидев на столе самопал, торопливо спрятал его под рубаху. Потом схватил коробок спичек, потряс им возле уха и сунул в карман.

- Ты же не куришь... - заметила Катерина.

- Скажи братанам, пусть не проса, а спичек побольше раздобудут... - И, торопливо застегивая ватник, заговорил: - Слушай, мать. Сегодня вечером от заводских ворот машина пойдет с теми, кто хочет уехать. Может, и ты надумаешь? Вещишек у тебя почти никаких. Соберись побыстрому. Ребята пусть помогут.

- Нет, Ваня, - вздохнула Катерина. - Хватит с меня: наездилась, находилась. Сам все знаешь. Вот есть у меня в белый свет единственное окошко - других уже не хочу. Нету на это сил. А ты, сынок, ступай! Я тебе уже не подмога. Все теперь будет без меня. Отныне у тебя одна мать - Матерь Божья. Надейся, Ваня, на нее.

- Ну, тогда я побежал! - Фагот неловко, полусогнуто ткнулся губами в Катеринину запавшую щеку. - Меня, наверно, ищут уже...

Он бежал по улице, почти не воспринимая ни знакомых домов, ни самой местности с отцветшими газонами, покинутыми табачными и газетными будками, опрокинутыми уличными скамьями и мусорными тумбами. Иногда возле магазинов и прежних закусовых под ногами хрустело битое витринное стекло...

Он бежал и, будто почтовый голубь, неосознанно чувствовал лишь одно направление своего бега.

В той стороне, где находился завод, шла беспорядочная стрельба. Среди поредевших винтовочных хлопков все чаще слышались короткие всхрапы автоматов, как если бы вспарывали серую рассветную наволочь. Время от времени в хмурое предзимье, прослоенное дымами затухающих пожаров, вскидывались красные и зеленые ракеты, наполняя вислое небо и мрачные после ночи окрестности обманной красотью блуждающих всполохов. Фагот тогда еще не знал, не мог знать, что на языке сражений зеленые траектории указывают, куда следует двигаться, красные - на неожиданные препятствия, на очаги сопротивления. Фагот только про себя отметил, что зеленых ракет было больше, чем красных.

Ближе к Пролетарской площади навстречу Фаготу все чаще стали попадаться куда-то спешащие, озирающиеся мужчины. Некоторые из них - должно, чтобы избавиться от сквозной уличной прямизны, - торкались в запертые подъезды и калитки, растворялись в неразберихе проходных дворов. На аптечном углу, наспех перевязанный прямо по всклокоченным волосам встречно бегущий человек озлобленно выкрикнул:

- Куда, дурак?! Там же немцы! Всем велено отходить!..

"Где - "там же"?" - не понял Фагот и, не успев уточнить, где именно, ответно еще пуще прибавил бегу и тут же очутился между двух тускло мерцавших рельсов на главной трамвайной улице.

Ниже, в нескольких шагах, на рельсовом спуске, под висячим знаком трамвайной остановки навзничь лежал убитый с насторону разбросанными руками. Живот его в голубой рубаше круто возвышался меж распахнутых пол пиджака, а на сизой картошине носа меркло светились толстые, близорукие очки, и Фаготу почудилось, будто это был Ван Ваньч, местком. При виде убитого он невольно пригнулся и поднырнул под нависшую крону плакучей ивы. Перебегая от дерева к дереву в Пролетарском сквере, он испытывал гнетущее чувство оттого, что опаздывает куда-то или уже опоздал вовсе.

Он собрался было прошмыгнуть к близкой баррикаде и за ней укрыться, но та была разметена на два вороха, с проездом посередине. Под разбросанным баррикадным мусором виднелись еще двое, не то убитых, не то раздавленных гусеницами.

У него воистину обмякли ноги, когда из-за последнего дерева, что укрывало его возле чугунной ограды, сквозь обникшие древесные пряди он вдруг увидел у самого порога проходной фашистский танк. Сперва Фагот принял его за полуторку, которая должна была вывести из города заводских беженцев, но сквозь путаницу никлых ветвей разяще обозначился белый немецкий крест в черной окоемке.

- Ничего себе полуторка! - возразил Фагот самому себе.

Танк был по самую башню заляпан вязкой осенней грязью, словно покрытый бугорчатой крокодилей шкурой. Между гусеничными катками и рессорными блоками намоталась хлебная солома с еще неотцветшими желтыми ястребинками и придорожным осотом. В башенном люке с откинутой крышкой высился танкист. Он был в нашенской ватной телогрейке, но в своей

разлатой каске с каким-то знаком на левом виске. Позади башни желтела притороченная плетеная корзина, из которой танкист брал и хрустко кусал и ел янтарное яблоко. Он жевал не спеша, с видимым наслаждением, как едят вызревшую курскую антоновку.

Немец аккуратно огрыз семенной стержень, оглядел его со всех сторон и, убедившись, что выесть больше нечего, размахнулся и запустил огрызком в крону ивы, укрывавшую Фагота.

Может быть, этот надменный и самодовольный жест врага был последним толчком, после которого Фагот извлек из-за пояса свое оружие, всегда заряженное и готовое к выстрелу. Он вставил в запальник обломок спички с полноценной серной головкой, после чего осторожно раздвинул ветки, просунул между ними граненый ствол и, все так же расчетливо, с холодной неприязнью навел мушку на перекрестье глаз и носа танкиста. Утвердив покрепче ноги, он чиркнул серником коробка по коричневой округлости спички. Жестко, рублено грохнул выстрел, заполнивший сплетение веток сизым и кислым спичечным дымом. Не дожидаясь, пока дым рассеется, Фагот пустился бежать от ограды, рассчитывая спрятаться за бетонным обводом фонтана. Но в тот миг, когда он вознес себя над цементным кольцом, вдогон раздалась автоматная очередь, и он, вскинув руки и выронив самопал, рухнул вниз, на заплесневелое днище фонтана.

...Его никто не искал, даже тот, в кого он целился, и Фагот еще долго лежал в донной мокроте, скопившейся как раз под ним и уже обагрившейся от набежавшей крови. Он то приходил в мутное сознание, то снова терял его, все чаще и дольше. Лишь спустя несколько часов из дверей угольной аптеки, разграбленной и зиявшей черными провалами недавних окон, вышла женщина в белом халате, с брезентовой сестринской сумкой через плечо. В поднятой кверху руке она держала марлевое полотнище и озабоченно махала им над головой. Таким образом она добралась до Фагота, пощупала пульс и наложила йодовый тампон на грудную рану. Потом подняла его голову и положила ее на свое колено. Через какое-то время Фагот приоткрыл глаза и бледными, спекшимися губами попытался что-то сказать.

- Лежите спокойно, вам нельзя затрудняться. У вас серьезное грудное ранение. Сейчас придет наш человек, и мы попробуем перенести вас в провизорскую.

Фагот напрягся и снова попытался заговорить. Медсестра наклонилась к его лицу.

- Попал я или нет? - услышала она горячий шепот. - Только одно слово: да или нет?

- Кто попал? В кого попал? - не поняла сестра, но, увидев оброненный пистолет, наконец сообразила, о чем ее спрашивают. И убежденно заверила: - Да попал! Попал! Молчи только...

Примечания

[1] Рассказ впервые опубликован в журнале "Наш современник" (1969, No 11), отдельной книгой вышел в издательстве "Современник" (М., 1979; иллюстрации худож. С. Косенкова). Военная история молодого рассказчика в произведении повторяет факты из биографии самого писателя: после прорыва восточнопрусских укреплений, на подступах к Кенигсбергу (ныне Калининград), в феврале 1945 г. Е. Носов был тяжело ранен, и его, вместе с другими бойцами, подобрали в Мазурских болотах, "промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики".

Артдивизион, в котором воевал Е. Носов, отбивался отседающих фашистких танков, выкатив орудия на полотно железной дороги. Вражеские автоматчики подобрались ночью к пушкам и выбили расчеты; танки пошли в атаку, сбрасывая орудия с полотна. "Кто-то отстреливался, кто-

то полз, волоча за собой кишки, кто-то кричал: "Не бросайте, братцы" и хватался за ноги; кого-то тащил, - передает воспоминания Е. Носова В. Астафьев, - мой друг, потом кто-то волоком пер по земле его, и когда останавливались отдохнуть, мой друг явственно слышал, как журкотит где-то ключик, и ему нестерпимо хотелось пить, и не понимал он, что этот невинный, поэтически звучащий ключик течет из него по затвердевшей тележной колее, лунками кружась в конской ископыти..." (Астафьев В. О моем друге. - В кн.: Евгений Носов. Усвятские шлемоносцы. Повести и рассказы. Воронеж, Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1977, с. 8). После ранения Е.Носов попадает в госпиталь в подмосковный Серпухов, и через двадцать с лишним лет об этих днях напишется рассказ "Красное вино победы": "...всемирное ликование и неподвижно лежащие в гипсовых панцирях тяжелораненые, искрящееся красное вино победы, выданное бойцам в честь такого дня, и один так и не выпитый стакан, стоящий на тумбочке солдата Копешкина, тихо и незаметно для окружающих скончавшегося от ран в самую минуту торжества"(Доризо Н. Прописаны навечно. - Правда, 1970, 1 октября).

В беседе с корреспондентом "Литературной России" Е. Носов говорил, подчеркивая свою жизненную пристрастность к людям определенного душевного склада, наиболее интересным для него как художника: "Мне хочется вызвать внимание к своим героям. У них зачастую что-то не сойдется - как у Копешкина... и без медали с войны вернулся, и умирает..." (Ломунова М. Во всем - большим и честным. В гостях у Евгения Носова. - Лит. Россия, 1976, 2 января).

[2] Рассказ впервые опубликован в журнале "Наш современник" (1973, No 3), вошел в книгу "Мост" (М., Современник, 1974)

"В рассказе "Шопен, соната номер два",- писала "Литературная Россия",- вновь по крупницам, по односложным репликам матери, потерявшей почти всех детей-солдат, восстанавливается эпическая, щемящая душу, заставляющая о многом задуматься история целой семьи, выбитой войной под корень" (Чалмаев В. Насущные заботы прозы.- Лит. Россия, 1974, 5 апреля). В. Астафьев отмечал в произведениях Е. Носова о войне "осторожность, трепет и уважение к памяти погибших" (Астафьев В. О моем друге.- В кн.: Евгений Носов. Усвятские шлемоносцы. Повести и рассказы. Воронеж, Центр.-Чернозем, кн. изд-во, 1977, с. 7); "Его рассказы (особенно я люблю "Красное вино победы" и "Шопен, соната номер два"),- отзывался Ю. Бондарев,- исполнены строгости, изящества, красоты, но не той красоты, которую создает недолговечное царство моды, а той, которая рождена талантом и находится в согласии с природой правды и слова" (предисл. в кн.: Носов Е. Усвятские шлемоносцы. М., Мол. гвардия, 1980, с. 4).